

ПИОНЕР



СЕНТЯБРЬ 9

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1967 г.

ОБРАЩЕНИЕ

ДЕЛЕГАТОВ III ВСЕСОЮЗНОГО
СЛЕТА К ПИОНЕРАМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА



Мы, делегаты III Всесоюзного слета пионеров, посвященного 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, обращаемся ко всем пионерам Страны Советов.

От имени 23 миллионов юных ленинцев говорим нашей Коммунистической партии, советскому народу слова благодарности за заботу о нас, за счастье жить и учиться в нашей прекрасной стране — Союзе Советских Социалистических Республик.

Мы — внуки тех, кто штурмовал Зимний, кто ходил в огневые атаки гражданской войны.

Мы — дети тех, кто разгромил фашистских захватчиков в годы Отечественной войны, кто сегодня своим трудом строит коммунизм.

Именем наших отцов даем клятву верности заветам Ленина, Красному знамени, пионерским Законам.

Растем, чтобы стать комсомольцами. Растем, чтобы стать коммунистами.

В канун славного юбилея мы, делегаты III Всесоюзного слета пионеров, призываем всех юных ленинцев страны встать на пионерскую вахту — вахту ударных пионерских дел в честь всенародного праздника.

Время вахты — август — ноябрь 1967 года.

Пусть каждая дружина, каждый отряд получают трудовое задание от коммунистов, комсомольцев родного села, города, района.

Пионеры посадят новые аллеи, сады, лесные полосы, построят игровые и спортивные площадки.

Мартены получают тонны пионерского металла для строительства кораблей, самолетов, комбайнов.

Пионерские дозорные урожая выйдут на колхозные и совхозные поля.

Наше отличное учение — Родине!

Пусть в дни октябрьской вахты широко раскроются двери пионерских музеев В. И. Ленина, залов и комнат революционной, боевой и трудовой славы советского народа.

Активнее включайтесь в конкурсы, олимпиады, военно-спортивную игру «Зарница».

Всем дружинам, отрядам, всем пионерам страны выйти 2 октября на Всесоюзный пионерский воскресник.

В канун всенародного праздника на торжественных сборах, линейках рапортовать коммунистам и комсомольцам о своих пионерских делах в честь 50-летия Великого Октября.

Пусть пионерская вахта станет частицей всенародной вахты в честь 50-летия нашего государства.

Пусть ярче горят знамена Октября!

К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будьте готовы!

Решение слета для нас закон! Слово Обращения должно стать делом! Все вместе, всем отрядом, всей дружиной — на пионерскую вахту в честь праздника Октября!



ПИОНЕР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО
КОМИТЕТА ВЛКСМ И ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
ВСЕСОЮЗНОЙ ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

СЕНТЯБРЬ

9

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» 1967 г.



Е. Я. ДРАБКИНА

ОПЯТЬ СЕНТЯБРЬ. ЗВОНОК. УРОК.
ЗАДАЧИ И ПРИМЕРЫ...
ПРИВЕТ ТЕБЕ ОТ НАС, ДРУЖОК,
ПРИВЕТ ОТ «ПИОНЕРА»!
УЧИСЬ И НАС НЕ ЗАБЫВАЙ —
ЧИТАЙ, ЧИТАЙ, ЧИТАЙ!

● В этом номере продолжает свой увлекательный рассказ об Октябрьской революции писательница Елизавета Драбкина, участник и свидетель великих дел и лет.

● ВНИМАНИЕ! В нашем театре «Фонарик» пьеса о революции и разговор режиссера о том, как поставить ее на школьной сцене. ВНИМАНИЕ!

● Земля! Кто на ней хозяин? Как работает человек на земле и как раньше он работал? Обо всем этом прочти в очерке «Разговор с сыном».

● И, конечно же, мы продолжаем публиковать повесть Альберта Лиханова «Чистые камушки». В новых главах вы узнаете об огорчениях Михаськи, славного человека, который был добрым и не прощал несправедливости.

● У нас на страницах **НОВЕЙШИЕ САМОЛЕТЫ** — рассказ летчика и фотографии.

● Новый научно-фантастический рассказ Севера Ганговского. Планете угрожала катастрофа... Но стоп! Читай сам.

● Охота с фоторужьем. Новая добыча писателя Сладкова.

● ЧТО СКАЗАЛ ДЖАННИ РОДАРИ НА ПЕРВОМ ДЕТСКОМ КИНОФЕСТИВАЛЕ?

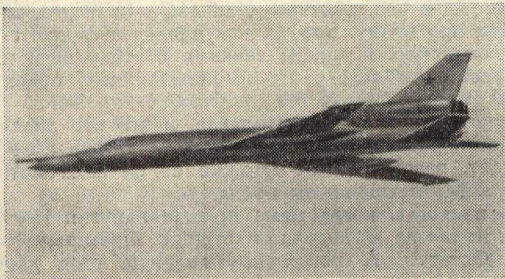
● «По дороге на мельницу». Что случилось? Нет, на этот вопрос «Ключ» не отвечает. Могу только сказать, что так называется рассказ грузинского писателя Отиа Иоселиани.

● Опять в номере «Трое неизвестных». Впрочем, их имена знакомы каждому, кто не остался на всю жизнь на второй год в четвертом классе.

● С помощью «Кругосветки» ты сможешь немного попутешествовать по нашей планете. «Ключ» советует воспользоваться этой возможностью.

● Еще загляни на страницы «Агентства ННН» — не пожалеешь.

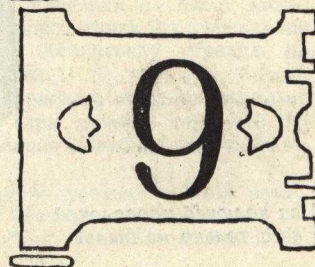
А ТЕПЕРЬ —
ДО НОВОГО НОМЕРА,
ВСТРЕТИМСЯ ЧЕРЕЗ
МЕСЯЦ. ПРОЩАЙ!



Ракетносец-великан.



Это КОТЯ, юный артист-агитатор. Смотри не опоздай на праздничную премьеру в театре «Фонарик».



Альберт ЛИХАНОВ

Рисунки Е. ШУКАЕВА.

Чистые камушки

ПОВЕСТЬ

Продолжение.

II

Ох и хитрый человек эта мама! Только потом понял Михаська, почему она тогда молчала. Почему не сказала ничего.

Просто она хоть вздыхала и говорила иногда, скоро ли кончится эта мастерская, чтобы можно белую скатерть на стол постелить, хоть и говорила и вздыхала, а сама-то была рада-радешенька, что все так получается.

Что наконец-то все дома и все так хорошо. Сын без слова уроки учит, даже троек почти нет, а муж не бежит по пивнушкам, как некоторые фронтовики, сидит дома, говорит с сыном, паяет себе ведра.

Мама и сама бы, наверное, с удовольствием попаяла, постучала, поскоблила эти тазы и ведра, да все-таки ведь хозяйство, надо и накормить мужиков-то и постирать.

Краем уха и она, конечно, слышала, как рассказывает отец про войну, про то, как дрался с фашистами врукопашную, и как за танками в атаку шел, и как в госпитале лежал. Ну и, конечно, про орден Красной Звезды. За что его получил.

В общем, все это мама слушала, и все это видела, и очень радовалась, глядя, как Михаська с отцом сидят, разговаривают и даже ее не замечают. Это уж Михаська потом понял.

Даже не тогда, когда мама пришла вдруг к Ивановне и принесла ей ведерко картошки. Еще прошлогодней. Остатки. А потом положила на стол два рубля и сказала:

— Ивановна, ты извини, тут Виктор ошибся.

А за колючей проволокой
чего только не было!

Ивановна стала уговаривать маму, чтобы она взяла эти два рубля, все-таки, мол, отец работал, а за работу пока что надо платить, все правильно, не при коммунизме живем, но мама наотрез отказалась, и Михаська видел, что маме неудобно за отца, стыдно.

И тогда он понял: это не отец вернул. Это она сама. Значит, она не согласна с отцом, раз ей стыдно, И, может быть, тогда, когда она промолчала, ей было в сто раз труднее, чем Михаське, и в тысячу раз обиднее, что отец так сделал.

А она промолчала.

Не сказала ни слова.

«Почему?» — думал Михаська и не мог понять. И только потом понял, что мама промолчала потому, что любит и Михаську и отца, любит всю их семью и не хочет, чтоб какая-нибудь самая маленькая малость случилась с ней.

Она просто смолчала и исправила все за отца. А он так ничего и не узнал.

«Но почему он не сам, — думал Михаська, — почему не сам?»

Почему он так сделал, отец?

Почему он такой?»

Михаська думал: «почемукают» только малыши. А оказывается, и в пятом классе вон их сколько, этих «почему»...

12

Однажды Михаська опоздал на первый урок. Ну, на какую-нибудь минутку. Хорошо, что математика была, Иван Алексеевич пустил, «русалка» бы — ни за что.

Михаська сел на свое место, достал тетрадку. Смотрит, Сашка ему семафорит. Михаська не понял. Так Сашка до конца урока все ерзал, на него оглядывался. В перемену кивнул Михаське, позвал к себе.

— Смотри, — сказал Сашка. На дне его кирзово-й сумки лежал настоящий кинжал. Со свастикой на ручке и какими-то словами вдоль лезвия. А еще по лезвию тянулись два еле заметных желобка. — Это чтоб кровь стекала... — Сашка повел лопатками, выпиравшими из-под рубашки, будто холодно ему стало. — Я эту свастику напильником сдеру...

Михаська представил себе фашиста, который таким кинжалом замахивается на партизана, связанного, избитого, и мурашки пошли у него по спине.

Сашка рассказал, что вчера был на военной свалке и, если Михаська хочет, можно еще сегодня сходиться, только тихо, без разговоров, а то мальчишки увяжутся, и тогда не проберешься: свалку охраняют.

Но охранял свалку один старик с берданкой, хотя и в военной фуражке. Наверное, так натянул, для форсу. Или для страха — чтоб боялись его. С трех сторон свалку окружала колючая проволока, а четвертой было свободно. Но там, рядом с железнодорожным тупиком, стояла будка охранника.

Мальчишки лежали под кустом и ждали, когда деду в фуражке надоеет ходить и он уйдет в сторожку, но дед оказался неутомимый, все топал и топал вокруг колючки, которой была загорожена свалка. Старый служак!

А за колючей проволокой чего только не было! Исковерканные танки с белыми крестами, пушки с расщепленными и загнутыми стволами, разбитые лафеты и даже хвост самолета. Горы железа, разломанного фрицевского оружия валялись тут, нестрашные, разбитые навсегда.

Когда старик с берданкой ушел в сторожку, мальчишки поползли к проволочному ограждению. Михаська сразу представил, что он разведчик и ему надо взорвать вражеский склад. Извиваясь, как змея, работая локтями и коленками, он полз по траве, оставляя чуть приметный след. Вот и проволока. Натянута туго, не отогнешь.

В одном месте под проволокой была какая-то ложбинка. Михаська перевернулся на спину, прижался к земле и прополз под колючкой.

Лазать по железу приходилось осторожно, и не только потому, что можно было наступить на что-нибудь и загрохотать на всю свалку, но и потому, что железо во многих местах было безжалостно разодранное, с острыми зазубринами.

Михаська с Сашкой поцелились из разбитой пушки, поискали, нет ли где-нибудь пистолета, и залезли в люк разбитого танка без гусениц.

Ржавые колеса танка врезались глубоко в землю и уже обросли травой.

Эх, а как там было здорово! Сашка сел за какие-то рычаги, а Михаська стал командовать почему-то, как на корабле: «Право руля! Лево руля!» Он просто не знал, как командуют на танке.

Потом Сашка показал Михаське темные пятна на железной стенке.

— Это кровь! — сказал он.

Михаська присмотрелся. Не скажи Сашка, он никогда бы не подумал, что это высохшая кровь. Просто какие-то пятна.

«Человека уже нет, — подумал он, — а кровь осталась».

Он тут же одернул себя: не человека, а фашиста, — но все равно стало как-то тоскливо и неприятно.

Они уже решили выходить, и вдруг Сашка показал Михаське гранату. Настоящую немецкую гранату. Длинную, с вытянутой деревянной ручкой.

— Здорово! — прошептал Михаська. — Сейчас рванем!

И тут за танком что-то загудело, загрохотало.

— Поезд, — шепнула Сашка, — тикаем!

Они выскользнули из танка. На железнодорожный тупичок возле свалки подогнали товарный поезд. Паровозик был маленький, пыхтел, ухал, шумел, а сам еле двигал тяжелую махину.

Мальчишки быстро проползли под проволокой, а дальше побежали, уже не таясь. Старик с берданкой стоял у паровоза, курил с машинистом. Огромный кран, стоявший на платформе, скрипнул, развернулся и склонил свой клюв к танку, в котором они только что сидели.

Было слышно отсюда, как натужно застонали тросы, танк нехотя вздрогнул и пополз вверх.

— Все, — сказал Сашка, — капут!

Михаська представил, как этот танк кинут в огромную кипящую печь, и он тотчас исчезнет, расплавится, сделается жидким, и те пятна крови внутри башни исчезнут тоже, исчезнут навсегда, как исчез тот, от кого они остались.

Он сжал зубы. Ему ни капельки не было жалко этого фашиста. Ведь из своего танка он стрелял по нашим. Может, даже по Ленинграду стрелял, по таким ребятам, как Сашка.

Пушки с загнутыми и расщепленными стволами, лафеты, хвост самолета, горы железа, того, что осталось от фашистов, медленно перебиралось на платформу.

Война кончилась, а теперь увозили в печь остатки ее. Как хорошо, что увозили все это!

Михаська вспомнил победу. Все обнимались и це-



*Ребята пилили бревна на
маленькие кругляши.*

ловались. Он думал, будет что-то необыкновенное, удивительное. Может, земля всколыхнется?

Но ничего такого не было. Даже день выдался самый обыкновенный, серый, не весенний.

Михаська орал, обнимался, радовался, как все, но он не видел победы. Он только чувствовал ее и знал, что она пришла.

А теперь он увидел ее.

Вот она какая, победа! Торжественная. Тихая.

В тишине поскрипывали тросы крана, гудел мотор, а железины, которые убивали, покорно поднимались на свою последнюю смерть.

Они уже были мертвы и разбиты. Но теперь они должны были перестать существовать вообще.

Михаська лежал, пораженный всем этим.

Сашка толкнул его в бок и вдруг крикнул:

— Смерть фашистским захватчикам!

Он вскочил, и что-то рванулось из его рук. Сашка тут же упал, и теплая волна прокатилась по Михаськиному затылку. В ушах зазвенело от грохота.

Они побежали.

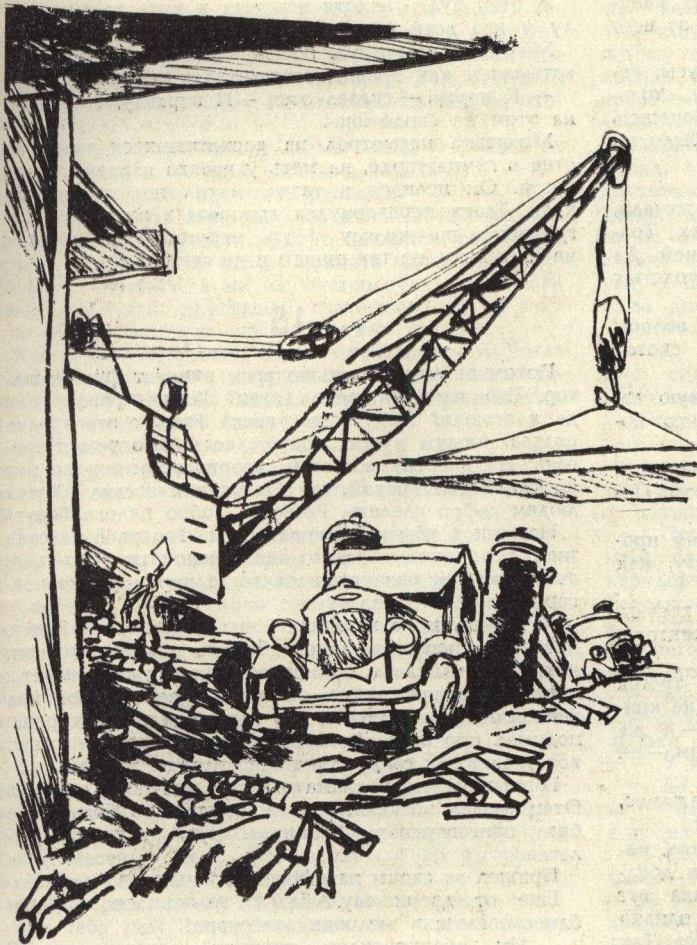
Они отдали свой салют победе.

13

В городе строили большой завод.

Иван Алексеевич объявил им, что на новом заводе будут делать не пушки, не снаряды, а тракторы. Чтобы они пахали землю. Чтобы росло побольше хлеба и поскорее отменили карточки.

Вот это будет заводище так заводище! На огромном пустыре за городом день и ночь тарахтели экскаваторы, черпали своими ковшами землю. Строил завод весь город. Рабочие с других заводов, все уч-



реждения. После смены люди шли на стройку и работали там до самой ночи.

Однажды Иван Алексеевич сказал им, что теперь и их школа должна пойти на стройку завода, настала очередь и, конечно, пойдет самый старший класс, пятый.

Работа у них оказалась хоть и легкая, зато очень важная. Они пилили бревна, но не на большие чурки, как для печки, а на маленькие кругляши. Потом кругляши кололи на чурбашечки. Это было топливо для газогенераторов, которые возили от экскаваторов землю. Так что Михаська с Сашкой пилили до зеленых кружочков в глазах и только тогда передыхали.

К площадке, где работали ребята, то и дело подъезжали машины, водители заправляли чурбашечками круглые печки возле кабины и уезжали дальше. Так что, остановись ребята, устань, вся бы стройка остановилась. Умолкли бы экскаваторы, стали машины. И хотя нарубленных чурбашечек была на площадке целая гора, приготовленная еще раньше какой-то другой школой, они выжимали из себя все.

Еще бы, такой заводище! А когда его построят, можно будет сказать младшеклассникам, что это строили его и они.

Иван Алексеевич был вместе с ребятами, он колол кругляши на чурбашечки, махал топором, будто заведенный, и останавливался только затем, чтобы протереть запотевшие очки.

Потом он все-таки остановился, объявил большой перекур, и Михаська еле разогнул спину.

Можно было посидеть, полежать. Но Михаська с Сашкой пошли по стройке.

На них гудели газогенераторки, раза два какие-то люди крикнули им, чтоб не ходили здесь. Вот еще, не ходили! Они такие же сейчас рабочие, как все, — кто им может запретить ходить по стройке!

В котловане работали землекопы. Михаська посмотрел на них и даже подпрыгнул от неожиданности. В котловане была отец. Он яростно махал лопатой, и его голубая майка почернела от пота. Спина напрягалась, когда он откидывал лопатой землю, сквозь мокрую майку проступали мускулы. Они так и катались, будто кто гонял шары у отца под кожей.

— Смотри, — сказал Михаська Сашке, — узнаешь?

Кепка у отца была назад козырьком, иногда он останавливался и вытирал пот со лба.

— Папа! — крикнул Михаська.

Отец обернулся и помахал рукой. — Мы тоже тут работаем! — снова крикнул Михаська.

— Я за тобой зайду! Жди! — ответил отец и снова стал копать. Михаське показалось, что он работает лучше всех, быстрее всех. Он любовался, как играют у отца крепкие мышцы.

Когда они пошли домой, Михаська подумал, что ведь это здорово: он и отец, они вместе строили завод! Может быть, когда Михаська вырастет, он будет работать на этом заводе, строить тракторы. Хорошо бы, и отец тоже тогда туда перешел.

Они стали бы ходить с работы вместе, неторопливо, устало шагая по мостовой, а мама ждала бы их дома. Хлопотала бы у печки, чтобы накормить их, рабочих людей.

Михаська взял отца за руку.

— Здорово, правда, папка? — сказал он.

— Что здорово? — спросил равнодушно отец.

— Завод строили! — улыбаясь, ответил Михаська. — И мы с тобой!

Отец был какой-то недовольный, хмурый.

— А ну их, время только потерял, — сказал он. Михаська будто споткнулся, будто его холодной водой окатили.

Он взглянул на отца — что он, шутит? Ведь все вокруг старались — и ребята и Иван Алексеевич. Вон как он махал топором. А шоферы на газогенераторках? А люди, которые копали котлован? Да сам отец?

Что же он, притворялся? Старался, а сам ругал тех, кто его сюда послал? Что же, ему ведра дороже?..

Михаська выпустил отцовскую руку. Потная она какая-то была, мокрая, как лягушка...

Михаська и сам не понимал, что с ним сделалось. Спроси его, ни в жизнь не объяснил бы. Просто раньше для него паяние было удовольствием почище

кино. Окунешь паяльник в мелкодробленную канифоль, прикоснешься к оловянному слитку, а от него белые горошины катятся — жидкое олово.

А сейчас одна гарь, вонь. И все эти примусы, керогазы, ведра, тазы опротивели. Лежат в углу, столыко места занимают — прямо как та свалка. Зацепить бы их краном — да в переплавку! Чтоб не было их никогда!

Так оно и случилось.

Однажды сидели они с отцом, скребли, стучали, дымили паяльником, и вдруг пришел человек. Толстый, рыхлый, и лицо такое, будто он больной. Да так, наверное, и было. Не больных таких толстых не было. Все, как иглы, тощие.

Толстяк поздоровался вежливо, пригладил волосы ежиком, потрогал зачем-то толстый нос и сказал отцу:

— Я фининспектор. Говорят, вы тут частную лавочку открыли? Похвальноно, похвальноно! Только почему налог с дохода не платите?

Отец побледнел, встал, ушел за шкаф. Вышел в гимнастерке, с медалями, с гвардейским знаком. Поправил ремень.

— Видите? — спросил он толстяка. — Я войну прошел. Ранен. Что же, я теперь жить не могу, как хочу?

Мама пришла из коридора, прижалась к косяку. Испуганно смотрела то на отца, то на инспектора.

— А вы мне тут налоги! — крикнул отец.

— Да не кричите, — сказал толстяк, снова трогая свой нос. Он говорил спокойно, будто отец и не кричал на него, будто ничего и не случилось — Я же вижу, что вы не жулик. Состояния на этом, — он кивнул на ведра и тазы, — не заработаете.

Отец сел. Фининспектор говорил с ним вежливо, не злился, даже как будто сочувствовал отцу.

— Но закон есть закон. Если получаете дохода, надо платить налог. Понимаете? — спросил он и добавил, слегка раздосадованный: — И гимнастерка тут ваша ни при чем, поверьте. Я сам воевал, однако наградами трясти в таком случае не решусь. Так что я вас предупредил. В следующий раз составлю акт.

Толстяк ушел, тяжело дыша, а Михаська сидел и смотрел в одну точку. Отец ходил по комнате, но Михаська не смотрел в его сторону.

Давно ли отец рассказывал, как ходил он в разведку, и Михаська глядел ему прямо в рот, и было здорово, просто прекрасно, что у него такой удивительный отец: разведчик — ведь это значит самый, самый смелый, а тут...

Он снова вспомнил, как отец вышел вдруг из-за занавески к фининспектору, и Михаська даже не понял сразу, к чему это он надел гимнастерку с медалями, может, хотел просто переодеться поприличнее, все-таки чужой человек в доме? А вот как вышло... Просто он испугался его. Кричать начал. Гимнастерку надел, будто броню какую. Будто можно гимнастеркой от фининспектора, от налогов этих защищаться!..

Михаська смотрел под стол, видел, как отец, который все ходил и ходил по комнате, наступает на одну половицу и она скрипит, прогибается под его сапогом.

Ах, как тошно было от всего этого!

Мать все так же стояла у косяка и молчала. Она то что молчит? Ведь она понимает! Бойтся за эту мастерскую? За эти ведра, тазы? За то, что Михаська снова будет бегать и хуже учиться, а не сидеть с отцом и паять ведра? Или чего она тогда молчит? Но мать стояла у косяка.

А отец будто нехотя подошел к куче хлама в углу и изо всей силы пнул ее сапогом.

Михаська вздрогнул. Весело забренчали тазы, раскатываясь, как бревна, загромыхали ведра...

— К черту! — сказал отец. — И вправду, состояния на этом не сколотишь.

Михаська посмотрел на раскатившиеся тазы, на отца в гимнастерке, на мать у косяка и размахнулся ногой. Он целился в тазик, метил под самый его край. Тазик перевернулся три раза в воздухе и загромыхал по железу. Мать испуганно посмотрела на Михаську, но так ничего и не сказала.

15

Потом он решил, что во всем виноват фининспектор. Что плохого сделал отец? Ремонтировал тазы да кастрюли? Подумаешь, грех! Так от этого одна польза. Людям нужна посуда, ее нужно ремонтировать. Не виноват же отец, что во всем городе нет ни одной мастерской, где бы чинили посуду? Хотел людям добро сделать. Разве за добро налоги берут? Нет, ни в чем не виноват отец. Теперь Михаська знал это точно. Только одно непонятно все-таки: отчего это он распетушился тогда перед фининспектором, чего испугался?

А может, и не испугался, что бояться-то! Может, наоборот, испугать хотел. Только уж просто так некрасиво вышло, а страшного ничего в этом и нет...

Михаська все думал об этом, думал, вспоминал фининспектора и понял, что зря тогда так нехорошо подумал про отца. А Ивановну он просто не знает; вот узнает как следует и тоже будет ее жалеть...

Гора железного хлама в углу все-таки исчезла. Отец раздал хозяйкам их имущество, но больше не брал, приговаривая: «Банкир лопнул, лавочка закрылась».

Пришел за своим патефоном и Седов.

Еще от двери заулыбался, залоснился жирным блином, глаза в щелочки зажмурил.

— Ну, обанкротился, наконец? — сказал он. — Я же тебе говорил, мелко плаваешь.

Мамы дома не было, и отец сказал Михаське, чтоб сходил погулял. Михаська обрадовался. Простивно смотреть, как снова этот Седов начнет про свое пиво с молоком рассказывать.

Он ушел, а когда вернулся, в комнате дым стоял коромыслом. Тарелка утыкана окурками, на столе пустая бутылка, и Седов все еще сидит. Лицо только круглее стало. И порозовело. Поджарился блин.

Сидит Седов на табурете, икает, прикрывает рот ладонью, как девица, стесняется, видите ли. А отец волосы разлохматил, угрюмо смотрит в пол и дымит.

Михаська зашел, и они сразу замолчали, будто про военную тайну рассказывали. Потом Седов снова икнул, встал, взял под мышку свой патефон.

— Учти, — говорит отцу, — учти мой опыт. Зла я тебе не желаю, а добра желаю, и потому не стесняйся.

Он оперся спиной о печку, вывозил пиджак, но Михаська ему ничего не сказал. Отец тоже.

— Раз живой остался, — сказал Седов, — значит, жить надо... Шутка ли, — восхитился он, — войну прошел — и одно ранение! И не в тылу где-нибудь, в пехоте-матушке! И-иех! — Он зевнул. — А жить, брат, нелегко, ох, нелегко! На фронте не боялся и тут не боюсь. Чего тебе? Свое возьмешь. Свое! Зря, что ли, кровь проливал?

— Ладно! — сказал отец. — Иди с богом.

— И место ге-енеральское! — протянул Седов. — К тебе еще на поклон пойдут. А бабу угомони! Своди ее к Зальцеру.

Седов повернулся, задел патефоном о стену, поврал обои и, слегка пошатываясь, вышел в коридор. И отец ничего не сказал ему. Снова уткнулся взглядом в стол, докуривая сигарету. Так и курил, смотрел, даже Михаську не замечал, словно на что-то решался.

Стукнула дверь. Пришла мама. Отец оторвался от стола. Придавил окурок ногтем в тарелку.

Вздыхнул. Будто на что-то решился.

С того дня все переменялось дома. Отец отвинтил со стола тиски, закинул куда-то паяльник, соскоблил ножом все пятна со стола. Комната снова стала похожа на комнату, а не на мастерскую, стол белел накрахмаленной, хрустящей скатертью.

А отец с матерью совсем другими стали.

Когда хмурился отец, мать улыбалась. А когда улыбался отец, мама хмурилась и ходила заплаканная. Прямо как на весах,—никакого равновесия. То один вниз тянет, то другой.

Если бы хоть Михаська знал, что у них там происходит, о чем они спорят. Но он входит — дома тишина. Молчат или говорят о пустяках. Словно ничего и не было.

Что за народ эти взрослые? Нет чтобы все прямо, открыто. А то боятся своим же детям правду сказать. Будто они враги какие, шпионы, сразу на улице побегут во все горло орать. Если неприятность, почему шушукаться надо? Скажите! Мальчишка или там девчонка, понятно, не взрослые, но они же люди, поймут, может, даже лучше взрослых все поймут. Посоветовать не посоветуют, конечно, зато все в доме нормально будет. Не придется прятаться, таиться, шептаться, словно заговорщикам.

Да, отец с матерью таили что-то от Михаськи. И он видел, отец перетягивает весы. Мама ходит совсем расстроенная, с Михаськой почти не говорит, отворачивается, будто виновата перед ним. А отец ходит, песенки поет: «По долинам и по взгорьям». Однажды он сказал Михаське:

— Ты про те марки не думай. Новые купим.

Вот тебе раз! Значит, слышал он тогда все-таки, что ему Михаська говорил.

Глядя, как отец улыбается, а мама молчит и хмурится, Михаська почувствовал, что между ними идет борьба. Михаська подумал однажды: может, отец заставляет маму что-то сделать? Что? Он ничего не мог придумать, да и смешно, с чего бы это он стал ее заставлять, они же не враги!

И все-таки он подумал, что эти годы, пока они жили без отца, мама была как будто смелее. Она выкормила Михаську, учила его эти годы. Ей было очень трудно. Михаська знал, мама сдает кровь для фронта, чтобы получить донорские карточки — масло, молоко, лишний хлеб. Она кормила этим Михаську, и он не раз уже думал об этом: ведь мама как бы отдает ему свою кровь. Она сильная, мама. Михаська знает это. И он хотел, чтобы она не молчала, чтоб она перетянула отца на этих их весах.

Он иногда спрашивал себя: а почему они вообще появились, эти весы? Почему мать и отец незаметно от него будто перетягивают канат? Что же, и до войны они тоже такими были? Или только сейчас? Значит, кто-то из них стал другим? Мама? Но Михаська был все время с ней. Значит, отец?

16

Все прояснилось разом и случайно, как это часто бывает.

Однажды отец пришел с работы и сказал маме, что он познакомился с одним мастером, который

шьет дамские туфли. Мама вяло кивнула головой, но отец потребовал, чтобы они сразу пошли к мастеру, потому что у него всегда очередь, а сегодня он приглашал сам. Михаська читал книгу, уроки он уже приготовил по старой привычке, и они отправились к мастеру все вместе.

Фамилия обувщика была Зальцер, и Михаська подумал, что где-то слышал эту фамилию. Во дворе двухэтажного деревянного дома им сразу указали на дверь, где он жил, но когда отец постучал, ему долго не открывали. За дверью что-то шуршало. Михаське показалось, словно кто-то смотрит на них в узкую щель. Отец постучал снова, и вдруг голос из-за двери спросил:

— Кто там?

— К Семену Абрамовичу от Седова,— сказал отец, сказал твердо, тщательно выговаривая слова, будто пароль, и Михаська вспомнил, что фамилию Зальцер называл Седов. Дверь распахнулась. На пороге стоял маленький человек в клетчатой куртке. Из открытого ворота куртки торчали густые, кудрявые волосы, растущие в изобилии на груди. Глаза у обувщика были навывкате и слезились.

— Проходите быстрее! — приказал он сердито, и отец, мать и Михаська быстро вошли в полутемный коридорчик, а затем в комнату с высоким лепным потолком.

У стены стояло пианино. Михаська уселся напротив него. Вся комната отражалась в его полированных боках.

— Детей мы обычно не пускаем,— сказал волосатый обувщик.— У них есть такая привычка обращаться к детям за сведениями.

— У кого у них? — удивленно спросила мама.

— Да есть тут...— недовольно отмахнулся Зальцер,— интересующиеся. Мальчик не проболтается? — спросил он у отца.

— Он у нас потомственный разведчик,— сказал отец.— Нем, как рыба, глух, как сова.

Он хотел польстить Михаське, загладить глупый вопрос этого Зальцера, но Михаська все равно обиделся. Что он, девчонка? А потом, какие тут тайны? На фронте, что ли?

Зальцер облегченно вздохнул и как-то разом переменился. То он был злой, а то вдруг застегнул ворот своей клетчатой куртки, распылся в улыбку и показал золотые зубы.

— Очень приятно познакомиться! — сказал он, пошел к маме и поздоровался с ней за руку.

— Ну, с вами мы знакомы,— весело кивнул он отцу и протянул руку Михаське.

— Здравствуй, здравствуй, мальчик!

Михаська пожал его руку и почувствовал, что рука у Зальцера потная, липкая и чуть дрожит.

— Очень, очень приятно,—повторял Зальцер, похаживая по комнатке.— Такие, знаете ли, контакты, как говорят, обоюдополезны, и в наше время просто необходимы. Может, чайку?..

Мама помотала головой, и Михаська заметил, как взглянул на нее отец, когда Зальцер отвернулся.

— Что же, что же? — говорил Зальцер.— Значит, туфельки? Какие желаете? Обыденные, выходные, бальные? Впрочем, что ж нам скрывать, люди все свои.

Он подошел к пианино, оглянулся на дверь, спохватился, накиннул крючок, хотя ведь была еще одна дверь, там, в коридорчике, и она уже на запоре, и открыл крышку пианино.

— Ну вот, выбирайте любые, ваш размер,— сказал он и начал доставать из лакированного пианино дамские туфли. Он ставил их на стол, и скоро на столе вырос целый магазин. Каких только туфель

тут не было! Серые, с пуговкой на носке, белые тоже с пуговкой, были и попроще и покрасивее. Михаська в свободное время заглядывал в магазины, полки там пустовали, а если и выбрасывали обувь, то по ордерам, и за ними стояла длинная очередь, а тут у одного человека столько сразу!

— Выбирайте, выбирайте, — повторял Зальцер, почему-то поглядывая на окно. — А это самые изысканные, бальные лодочки.

Он поставил в центр стола туфли, сверкающие, как пианино. У них был высокий каблук, а по краю туфель проходил золотой ободок.

Мама охнула. Глаза у нее давно уже загорелись, сразу, как только Зальцер стал доставать туфли из пианино. А тут она прямо охнула.

— Нравятся? — спросил Зальцер у мамы.

Впрочем, зря он спрашивал, это и так видно было.

— Ну берите, — сказал он. — Ваши. Я вам дарю.

Мама охнула еще раз, замотала головой, и отец тоже запротестовал, вытащил из кармана деньги и начал отсчитывать.

— Ну что вы! — воскликнул вдруг Зальцер, сердясь. — Право, как маленькие! Что вы в этом нашли? Я дарю, так и вы потом когда-нибудь отблагодарите. Мы вам, вы нам. Ясное дело, не с бухты-баракты. Думаю, мы с вами подружились наконец?

— Конечно, конечно, — говорил отец, а мама не могла отвести глаз от туфель.

— Ну так вот! — сказал Зальцер. — Берите, и все!

Мама отвела, наконец, глаза от туфель и посмотрела на Зальцера.

— Нет, бесплатно я не возьму, — сказала она твердо. — Виктор, заплати.

Отец снова стал отсчитывать деньги, и Михаська подумал, что вот все-таки какая она молодец, мама, как твердо сказала сейчас, что бесплатно не возьмет.

Зальцер успокоился, взял деньги, приговаривая:

— Вот ведь вы какие, вот какие!..

Потом наступила тишина. Пока Зальцер заворачивал мамини туфли в газету, Михаська смотрел в полированный бок пианино. В нем отражался буфет, который стоял за спиной у Михаськи, а рядом, на тумбочке, радиоприемник. Михаське стало смешно. Он подумал, что, наверное, и в буфете вместо посуды и в радиоприемнике вместо проводков и ламп, как в пианино, хранятся у Зальцера разные туфли.

— Ну вот ваши бальные лодочки. Не хватает только бала. Ну теперь у вас и бал скоро будет, — сказал Зальцер и засмеялся. Но смех у него получился неискренний, будто он рассердился про себя на что-то.

— Какой там бал! — сказала мама.

— Ну как же, как же! — воскликнул Зальцер. — Не каждому, знаете ли, выпадает такое счастье, как вам.

— Какое же счастье? — удивилась мама.

— Ох, скромный вы человек, скрытный! Но что ж вам своих людей пугаться? Устроиться продавцом в первый коммерческий магазин после войны — это вроде как сразу генералом стать. Поверьте мне, старому воробью, счастье! Да, да...

До Михаськи не сразу дошло все это. Он увидел, как залилась краской мама и повернулась к нему. Он еще улыбался ей. Слова Зальцера остались в памяти, но Михаська относил их к кому-то другому, не к маме. Но мама смотрела на Михаську, краснея и краснея, и он вдруг все понял.

— Какой магазин? — тихо спросил он.

Мама кивнула головой и сказала:

— Так надо...

Кому, зачем так надо, Михаська ничего не понимал. Мама всю войну работала в госпитале, спасала

людей, дежурила ночи напролет возле умирающих, а сейчас... Как же так в магазин? Продавцом? Все было так неправдоподобно, нелепо...

Михаська все никак не мог разобраться в том, что произошло. Мысли путались, сталкивались, падали, как осенние мухи, которые заснули, а их вдруг разбудили, и они мечутся, не знают, куда лететь.

Отец усердно не смотрел на Михаську, они о чем-то говорили с Зальцером.

— Мы пойдем, — сказала мама отцу. — Ты нас догонишь.

Она взяла Михаську за руку, как маленького, они снова прошли по тусклому коридорчику, и Зальцер, закрывая за ними дверь, сказал маме:

— Скажите мальчику, чтоб не распространялся.

— Да нет, нет, не волнуйтесь! — ответила раздраженно мама.

За спиной загремела цепочка. Они пошли молча по сухой осенней улице. Эта улица нравилась Михаське. Здесь росли дубы, и он с Сашкой Свиридом приходил



— А это самые изысканные, бальные лодочки.

сюда собирать желуди, чтобы делать из них потом смешных человечков. Желуди и сейчас лежали под деревьями, но Михаська равнодушно наступал на них, и они выскакивали из-под ботинок, будто лягушки.

— Я не хотела, Михасик, — сказала мама добрым голосом, — но папа настоял. Да и в самом деле, прав этот Зальцер, жить будет полегче. Глядишь, чего-нибудь сладенького принесу.

— Сладенького! — остановился Михаська. — Я что, маленький?

Мама смотрела на него, ей было плохо, Михаська видел это. Но зачем она делает вид, что ничего не случилось, зачем представляется?

— Ты же в госпитале! — сказал он. — Зачем тебе магазин?

Михаська старался успокоиться, старался говорить спокойно, рассудительно, чтобы мама поняла, что она делает, время еще есть, можно и передумать.

Он вспомнил, как ходил в госпиталь, к маме на работу. Она усаживала его в приемном покое у подоконника, там было тихо, и Михаська учил уроки. Иногда мама говорила, чтобы сегодня после школы Михаська шел домой, это значило, что приходил эшелон с ранеными и в приемном покое лежат бойцы. Михаська заглянул однажды туда, когда прибыл эшелон. Там оказалось по-прежнему тихо, только в

углу кто-то тихо постанывал. Раньше в этой комнате был всегда чистый воздух, а теперь плавали облака табачного дыма и пахло чем-то удушливым.

А раз мама вернулась из госпиталя совсем белая, сразу повалилась на кровать, и Михаська бросился к ней, думал, она заболела. Но мама улыбнулась, отдышалась, попросила нагреть чаю, а потом рассказала Михаське, что сегодня привезли эшелон прямо с фронта, многим раненым требовались срочные операции, переливания крови, и вот крови не хватило. Мама дежурила в операционной, помогала хирургу. Она закатала рукав, ее положили рядом с раненым и сделали переливание крови от мамы к этому раненому. Михаська удивлялся, как это из мамы кровь сразу перелили в жилы другому человеку. Мама смеялась над ним, говорила, что, во-первых, не в жилы, а в вены, и показывала у себя на руке синюю ниточку этой вены. И в одном месте на руке, над венной, у нее был огромный фиолетовый синеяк. Мама сказала, что это от укола и все пройдет, ей не привыкать. А во-вторых, так бы сделал любой человек, и был бы там Михаська, он тоже бы так сделал, потому что у него группа крови такая же, как у нее, а значит, подходит всем раненым.

Вот что значил госпиталь для мамы. Да и для Михаськи он был как второй дом всю войну.

Он отвечал в школе за сбор подарков раненым. Однажды всем классом они шили прямо на уроке кисты для бойцов, а девочки вышивали их красными подписями: «Поправляйся скорее, боец». Еще они собирали папиросную бумагу, теплые носки и варежки, и все это Михаська вместе с другими ребятами и Юлией Николаевной передавал выздоравливающим раненым из маминго госпиталя. Бойцы, лежа на кроватях, хлопали им, и мама тоже хлопала, она была тут же.

А теперь все это надо было забыть, выбросить из памяти, вычеркнуть из жизни. Михаська вспомнил почему-то продавщицу мороженого Фролову, которая всю войну прокормилась за счет собак, и ему до слез стало стыдно за маму.

— Эх ты, сестра милосердия! — сказал он, зло глядя ей в глаза. Будь мама мальчишкой, он, может быть, стукнул ее даже. Мама хотела удержать его за рукав, но Михаська вырвался и побежал к Сашке Свириду.

На повороте он оглянулся.

Одинокая, худенькая фигурка мамы маячила на дороге. Михаське стало жалко ее, и он закусил губу, чтоб, чего доброго, не зареветь посреди улицы.

«Все понятно! — думал он. — Отец перевесил! Тянули, тянули канат, и он оказался сильнее. Перетянул».

Михаська вспомнил, что, когда Седов приходил к ним и отец пил водку с этим блином, Седов говорил про какое-то генеральское место.

Вот оно, значит, какое, генеральское место.

Значит, Седов перетянул отца, а отец маму.

Мама говорила, инфекция — это когда болезнь передается от одного человека к другому.

Пропусту говоря, зараза.

17

...В магазин пускали партиями, по сто человек. И хотя без очереди никто не лез, когда милиционерши открывали дверь, начиналась давка.

В самой толкучке неожиданно возникал Савватей с дружками, и немного погодя действительно оказывалось, что у кого-то вытащили карточки, а кто-то потерял деньги.



— Нет, бесплатно я не возьму, — сказала мама твердо.

Тут очередь свирепела, сжималась, как пружина, и если тебя вытолкнули случайно из нее, не бойсь, не кричи — не пустят, пока не схлынет волнение и пружина не ослабнет.

Первое, что увидел Михаська, когда очередь, словно волна, занесла их в магазин, была мама.

Она стояла за гнутым стеклянным прилавком, и плохое стекло, казалось, согнуло ее пополам. Будто мама спрашивает что-то.

Михаська хотел подойти к ней, но отец уже держал его за руку. Надо было занимать сперва очередь в кассу, а потом уж бежать по прилавкам выбирать, что купить.

Люди брали сыр, масло, колбасу, а отец почему-то выбыл конфеты, и они еще три раза обернулись в очереди у кассы и снова и снова отбили чеки за конфеты.

Теперь они опять стояли в очереди. К маме, Михаська, не отрываясь, смотрел на нее. Мама была какая-то незнакомая, строгая. Михаська видел ее на работе и раньше, в госпитале. И тогда мама была строгая, если делала что-то важное, но лицо ее оставалось теплым, ясным, светлым. А сейчас будто какая-то тень набежала на нее. Она нахмурила брови и не отрывает глаз от своих весов, не взглянет даже на них с отцом.

Очередь дошла до Михаськи. Он протянул маме чек, хотел сказать: «Свешайте конфет», — но не смог. Язык просто не повернулся сказать маме это как какой-то продавщице. Но мама и правда была теперь продавщицей, и все ей говорили: «Свешайте, свешайте», — и никому ничего больше от нее не требовалось.

Всем было все равно, кто там, что там за человек, главное, чтоб он свесил и не ошибся, не надавил пальцем на весы, не обжулил.

Мама смотрела на Михаську, а у самой в глаз попала какая-то ерундовина, и мама моргала-моргала, хотела выморгнуть эту ерундовину.

Мама замешкалась немного с Михаськой, а очередь сразу зашумела на нее, все тут торопились, всем было некогда, не до этого, пожрать бы чего, — и мама сунула Михаське кулек с конфетами, словно чужому, просто покупателю, и стала дальше вешать свои конфеты, не отрываясь от весов.

А слезинка ползла у нее по щеке, и мама дула на нее краешком губ, хотела сдуть и все не могла...

Дома было неуютно и холодно. Истопить печку мама не успела, и отец начал строгать лучину. Михаська развернул кулек. Конфета оказалась шоколадной, с фруктовой начинкой.

Последний раз ел Михаська такую конфету у Юлии Николаевны. На прошлый Новый год она позвала к себе Катю с Лизой, Сашку и еще несколько ребят. Всем досталось по такой конфете. Когда конфеты съели, а фантики спрятали по карманам, Юлия Николаевна вдруг рассказала, почему сейчас мало конфет. Оказалось, машины, которые раньше выпускали конфеты, теперь делают патроны.

— Хорошо! — сказал тогда Сашка. — Фашистам к чаю!

Они рассмеялись. Но еще по конфете бы никто не отказался. А больше у Юлии Николаевны не было.

Михаська потом часто думал, что когда наступит мир, он обьестся конфетами. И вот они лежат перед ним. А есть их совсем не хотелось.

Михаська лег в кровать.

В печке гудел огонь, он освещал лицо отца, и от этого лицо его было ярко-красным и недобрим.

Михаська решил, что обязательно подождет маму, но незаметно уснул.

Он проснулся вдруг, сразу, от какого-то странного

звука. Как будто кто-то плакал. Михаська сел на кровати.

— Перестань! — громко сказал отец. — Вон и Михасика разбудили.

— Что? Что случилось? — испуганно спросил Михаська.

— Ничего, ничего, сынок, спи, — ответила мама, сморкаясь.

Отец курил, и папироска красной точкой светилась во тьме. Михаська вспомнил, как до войны, еще совсем маленьким, когда не хотелось спать, он просил отца нарисовать ему что-нибудь в темноте папироской. Если быстро крутить огоньком, получается картинка. Забавно. Отец словно услышал его.

— Хочешь, нарисую? — спросил он, и Михаська лег, успокаиваясь.

— Нарисуй, — ответил он хриплым спросонья голосом.

Отец раскурил папироску, чтоб она горела поярче, и стал выписывать в темноте круги, кренделя, шары, а потом сказал:

— Теперь смотри.

Он провел красный квадрат, над ним нарисовал треугольник, на треугольнике маленький квадрат. Из квадрата пошли завитушки. «Дом! — понял Михаська. — И тут этот дом». Он повернулся к стене, так что затрещали пружины, и притих, стараясь уснуть.

Ночью ему приснился бревенчатый дом. Бревна были красные, как головешки. И дым из трубы был не дымом, а кудрявым огнем. Михаська весь сон думал: как жить в таком доме?

18

А через два дня случилось ужасное.

В школе Михаська сразу заметил, что Сашка Свиридов как-то странно посмотрел на него. Что-то чужое было в Сашкином взгляде, будто он знал о Михаське больше, чем знает даже сам Михаська, будто был он у Сашки, как на ладони.

Но Сашка ничего не сказал, улыбнулся, подошел к Михаське, они начали говорить, как всегда, конечно, спорить и в азарте доспорились до того, что начали обсуждать, кто смелее: Сашка или Михаська? Началось, между прочим, с того, что Сашка стал говорить про лунатиков и что лунатики не боятся ходить по краю крыши.

Михаська считал, что в вопросах медицины он-то разбирается лучше, и сказал, мол, бояться или не бояться, не в этом дело, просто лунатизм — болезнь такая, и по крыше может ходить самый последний трус, потому что он, когда идет, ничего не соображает.

Слово за слово — в общем, сошлись на том, что если уж испытывать смелость, так это надо погладить по шее собак, и не каких-нибудь дворняжек, мопсиков, хоть и кусачих, но трусливых, а тех, что сторожат универмаг.

Сашка в запале немедленно решил сделать это сегодня же, а Михаська, понятно, стал над ним потешаться.

Михаська помнил, каким тихим был Сашка в лагере, когда они познакомились. Но сейчас он стал совсем другим: задиристым и всегда лез напролом. И уж не отступал от слова, хотя Михаська посмеивался над ним просто так, без всякой злобы. Да каждый же скажет, что пойти навстречу псам и погладить их по шее только сумасшедший может.

Но Сашка все перемены шумел, хвастался, подталкивал Михаську, и Михаська сказал, что ладно, так и быть, он спорит на три американки, что тот струсит. Три американки, каждая американка — исполнение трех любых желаний выигравшего — цена

для такого дела очень даже немалая, и Сашка тут же согласился.

После уроков они пошли поесть, а к вечеру, когда собаки должны были идти в магазин, встретились в условленном месте, на улице, по которой однорукий муж Фроловой водил своих псов.



Сашка шагнул вперед, и один пес зарычал, оцетинил шерсть.

Уже смеркалось, когда овчарки появились на дороге, и Михаська сказал Сашке, чтобы бросил дурить, он отменяет все свои три американки, но это почему-то только сильнее разозлило Сашку.

Собаки приближались. Они шли, властно занимая всю мостовую, чуть косолапя, ставили на земле когтистые пятнадцатичленные знаки, и прохожие покорно сворачивали в сторону, уступая дорогу знаменитым псам.

Сашку стало трясти, он даже позеленел, а Михаська, растерявшись, молчал. Эх, надо бы схватить Сашку за рукав, дернуть его — пусть, пусть во всем был бы виноват тогда Михаська! Не дать Сашке сделать этот шаг... Последний шаг. А может, первый? Ведь с него все началось.

Собаки поравнялись с ними. Сашка шагнул вперед, и один пес зарычал, оцетинил шерсть и потащил однорукого мужа Фроловой к Сашке. Второй пес шел спокойно, ничего не замечая, понурился головой.

Фролов прикрикнул на пса, который зарычал, и тот послушно умолк. Сашка стоял на обочине мостовой, глядя вслед собакам, ни жив ни мертв. Если честно говорить, и у Михаськи пошли по спине мурашки, когда Свирид сделал свой первый и единственный шаг к собаке. Михаська вздохнул и хотел было утешить Сашку, но тот повернулся к нему. Михаська удивился. В глазах у Сашки стояли слезы, наверное,

он просто обозлился на себя за этот дурацкий спор и, конечно, на Михаську.

— Уйди! — прошептал он.

— Брось ты, Сашка! — сказал Михаська. — Я бы ни в жизнь!.. Вон он как ощерился!

— Уйди! — снова сказал Сашка, зло сжимая кулаки. Он, наверное, подумал, что Михаська просто смеется над ним, издевается, как тогда, в лагере, издевались над Сашкой почти все. Может быть, даже он подумал, что Михаська спорил с ним из-за этого — поиздеваться за прошлое: мол, куда тебе пса погладить!

Михаська вдруг подумал, что, пожалуй, Сашка и стал-то таким задиристым после лагеря, чтобы доказать всем, что он не хуже других. И псов захотел погладить, чтоб доказать. И не кому-нибудь, а Михаське, своему лучшему другу.

Михаська тут же, конечно, пожалел Сашку, что он так переживает, забыть не может про лагерь.

— Брось ты, Сашка! — сказал он снова.

— Уйди! — закричал вдруг Сашка. — Уйди, говорю, спекулянт!



«Вот ведь как обиделся!» — подумал Михаська. Будто он, лучший друг, мог о нем что-нибудь плохое подумать. А про лагерь он давным-давно забыл.

— Что ты, — засмеялся Михаська, — белены объелся?

Этого слова «спекулянт» он даже не заметил.

— Уйди! — повторил Сашка. — Все вы такие! Спекулянтская морда!

«Что он, обалдел совсем?» — подумал Михаська. — Я к нему, как к человеку, а он...»

— Ну-ка, повтори, — сказал Михаська.

— И повторю, — окрылся Сашка. — Спекулянтская морда. Твоя мать конфетками теперь на базаре торгует.

Михаська вложил всю силу в этот удар. Сашка упал в пожелтую траву, упал молча, как мешок, набитый чем-то тяжелым. И то, что он не заревел, ничего не сказал больше, острой болью резануло Михаську. Значит, он сказал правду! «Тыфу, ерунда какая!» — подумал он тут же.

Но Сашкины слова уже не давали ему спокойно идти, спокойно дышать, о чем-то думать. Он пошел домой быстрее, потом побежал. Дома никого не было. Михаська включил свет и полез в буфет. Конфеты, которые они купили в коммерческом два дня назад, лежали на месте.

«Подлец!» — подумал он. — Какой подлец этот Сашка! Для верности Михаська развернул бумажку и откусил полконфетки.

Однако спокойнее не стало. Михаська закрыл комнату и побежал в магазин. Вокруг него опять вилась очередь, еще длиннее, чем в тот раз. Мама говорила, теперь пропускали за вечер по полторы тысячи человек. Михаська обежал магазин и стал стучаться в какую-то дверь. Ему долго не открывали, а потом выглянул милиционер. Михаська сказал, что он пришел к матери, надо отдать ей ключ, и милиционер впустил его. Старуха в мятом халате пошла заменить мать, и через минуту в коридор, где пахло пряниками и колбасой, выскочила бледная мама. Она кинулась к Михаське, обняла его.

— Что ты? — спросила она.

— Ничего, — ответил Михаська.

В коридоре никого не было. Только маленькая лампочка освещала большие ящики.

— Mam? — глядя ей в глаза, спросил Михаська. — Ты торговала конфетами? На рынке? Это правда?

Мама вдруг переменялась, лицо ее посерело. Она нахмурилась, но Михаська не спускал с нее глаз.

— Это правда? — повторил он.

— И ты поверил? — спросила она.

Она смотрела на Михаську такими тоскливыми глазами, что он чуть не заревел от собственной несправедливости.

Михаська шагнул к ней и прижался головой. Мама гладила его по вихрам, тормозила его, как маленького.

Будто гора свалилась у Михаськи с сердца.

— Ну иди! — сказала мама. — Пей там чай...

Михаська пошел по коридору, дошел до конца и обернулся. Ему показалось, что мама оперлась рукой о стенку. Он хотел подбежать к ней, но мама помала ему рукой. Лицо ее было совсем серым.

обмотанными, словно боевое оружие, холщовыми тряпичками. Погода предупредила, дальше ждать было нечего, того и гляди ударят затяжные дожди, и тогда придется копать в мокрой земле, очищать каждую картофелину от грязи, таскать мешки, поскользываясь на кочках, так что каждый пуд обойдется на вес золота...

Михаська работал по очереди с отцом. Они работали споро, участок был все-таки немаленький. Иногда Михаська втыкал лопату в землю и шел к ручью, который перебегал через белый камень. Вода приятно холодила горло, леденила зубы. Михаська ложился на траву у воды и пил прямо из ручья. На дне золотели песчинки, освещенные сквозь воду солнцем, вода переливалась, торопясь к речке или к большому ручью, омывая рассыпанные в песке разноцветные камушки.

Михаська вспомнил, как они приходили сюда в августе с отцом и мамой, вскоре после того, как приехал отец, и он вытаскивал со дна эти камушки и смотрел сквозь них на поле, на небо, на солнце... Они пели пионерскую песню отца и мамы, песню про картошку, и все было хорошо и ясно тогда.

Михаська снова подумал про Сашку Свирида, про неожиданную и какую-то нелепую эту драку. Он никак не мог понять, с чего бы вдруг Сашка, лучший школьный товарищ, сказал такое. Ведь ничего между ними не было плохого.

Ну обозлился, даже ясно, почему обозлился, хотя и совсем зря, но вот такое бухать!

Никак не поймет Михаська, в чем тут дело.

Книжку читает — про Сашку думает, по улице идет — снова про Сашку, на уроке сидит — урок плохо слышит. Сашка ему покоя не дает. А уж картошку копает — тем более. Никогда просто так, ни за что Сашка никого не обижал. Даже девчонку за косы без дела не дергал. Только по причине. А тут такая каша!..

Отец говорит:

— В час — большой перекур.

В час должна прийти Ивановна, принести обед. Мама с ней договаривалась. Сегодня воскресенье, они с утра ушли на участок, а Ивановна сготовит обед для всех и принесет. Мама ей денег дала.

В эмалированном, еще довоенном ведре, укрытом маленькой подушкой, Ивановна принесла кашу. Над кашей стояла широкая миска со щами.

Все уселись в кружок, долго звали Ивановну, но она наотрез отказалась, сказала, что уже отобедала.

— Что ты, Ивановна? — спросила мама. — Или расстроена чем?

Ивановна подняла трясущуюся голову.

— Ох, не говори, Вера! — сказала она. — Вот и война кончилась, а горе идет!

Все повернулись к ней.

— Встретила сейчас Юлию Николаевну нашу. Идет к Свиридовым. С горем идет.

И тут Ивановна рассказала про Юлию Николаевну такую историю, что Михаська просто ахнул.

Еще в позапрошлом году шла она из школы домой и встретила почтальоншу, бывшую свою ученицу. Остановились, поговорили, почтальонша и говорит: не учится ли у вас Свиридов, у него еще мать — сердечница. Юлия Николаевна сказала, что да, учится такой Саша Свиридов, особенно успеваешь по математике, и правда, что мать у него часто болеет.

— Боюсь, — говорит почтальонша, — к ней идти. Им похоронная на старшего сына. Вдруг мать не выдержит?

Словом, взяла Юлия Николаевна у почтальонши похоронную, сказала ей, что передаст сама, когда наступит время, и чтоб почтальонша молчала.

В десятых числах октября желтое, будто остывающее солнце закрылось ватными облаками, два дня время от времени моросил дождь, потом снова небо прояснилось, и те, кто еще не убрал картошку, заторопились на свои участки, с лопатами на плечах,

Время шло, а Юлия Николаевна все не решалась и не решалась отдать похоронную, сил у нее, наверное, не хватало отдать ее, хотя какие ж тут силы надо — принести бумажку. Но бумажка была особая, в ней сообщалось о смерти человека, сына женщины, которой об этом надо сказать.

Она думала о Коле, хотя и не знала его, подолгу смотрела в перемены на Сашку и не останавливала его, когда он дурил, и все думала о Сашке, о его матери, о похоронной.

Никто ее не просил об этом, но Юлия Николаевна сама взяла эту тяжесть, несла ее одна, хотя это, наверное, было трудно. Она несла ее, чужую тяжесть, все молчала, ждала, когда Сашкиной матери будет лучше, когда она привыкнет к мысли, что Коли уже нет, чтобы потом разделить с Сашкиной матерью это горе и спасти ее, потому что у нее есть еще один сын — Сашка.

Не сказала она ничего и в день Победы, потому что Сашкина мать не выдержала бы такого в один день.

Теперь война кончилась, прошел год, как она кончилась. Сейчас надо было сказать.

Михаська представил, как Юлия Николаевна пришла к Сашкиному дому, как подошла к крыльцу, но остановилась, потопталась в нерешительности, посмотрела рассеянно по сторонам, а потом вздохнула и тяжело поднялась по скрипящим ступенькам...

Бабушка Ивановна провела рукой по лицу, будто сняла паутинку. Мама вздохнула.

Михаська попробовал представить, как Юлия Николаевна говорит сейчас Сашкиной матери о Коле, но не мог. Он просто вспомнил Колю. Сашка показывал его фотокарточку: молодой, совсем еще мальчишка. На погонах по одной звездочке. Он был младший лейтенант, Коля.

Мама задумчиво смотрела куда-то в сторону. Отец отложил ложку. Ветер лохматил его волосы, как тогда, когда они приходили на участок первый раз. Он хмурился, и морщины расщелили его лоб.

— Да, — сказал отец, — все бывает в войну.

Михаська подумал, что ни разу еще не видел отца таким серьезным и задумчивым.

— Как вспомнишь, что повидал. до сих пор холодным потом обливаешься, — проговорил он. — Видел я на поле боя человека без ног. Как ножом отрезало. Кровь хлещет, а он на руках поднялся и кричит: «Бей их, гадов, братцы. бей!»

Отец умолк, все глядели на него внимательно, слушали каждое слово.

— И так, я вам скажу, сделалось мне тогда больно и страшно, вовек не рассказать...

Отец вытащил папироску, закурил, окутался сильным дымом.

— Долго еще про погибших узнавать будем, — сказал он. — Это вроде как эхо... Война кончилась, а эхо еще долго катиться будет.

Руки у отца дрожали. Вспомнил войну, того человека, вот и задрожали.

— Бывало, лежишь в окопе, кругом ад, все рвется, того и гляди ужокошит. Лежишь и думаешь: какой дурак был, жить не умел. Дни бежали месяцами, а ты их не замечал... Эх, победим, мол, тогда буду знать, почему жизнь! Как ее уважать надо!

Отец встал. Михаська подумал, что говорит он сегодня как-то необыкновенно, удивительно. Никогда так не говорил.

— Вот рассказала ты, Ивановна, — сказал он, — и снова будто жаром пахнуло. Ну ее к черту, войну, давайте-ка жить!

Он схватил лопату, сжал ее в руках. Глаза у отца заблестели.

— Хочу забыть, понимаете, все забыть! Смерть забыть, кровь, раны... Сыт по горло, понимаете! Живым жить надо! Жить хочу!

Отец воткнул лопату в землю, с силой нажал на нее, вывернул огромный ком земли с картошкой. Он весь жил, шевелился, хотел работать. Вдруг обернулся. Все уже встали, чтобы снова выбирать клубни.

— Чтобы каждый день, понимаете, каждый день радоваться, что ты живой! — крикнул он. — Чтоб жить без дураков, как того заработал! Свое получить!

Он стал выворачивать комья земли с картошкой. Все помогали ему. Только Ивановна стояла и смотрела на отца. Голова ее вздрагивала.

— Забудешь? — словно удивляясь, сказала она. — Как же тут забыть-то все это? Кому под силу?

Отец не расслышал, чего она там бормотала. А может, и слушать ничего не хотел.

Он работал со злостью, с силой переворачивая землю. Будто хотел на всем поле выкопать всю картошку.

«Тошку-тошку-тошку-тошку...»

20

Пронеслась метелями зима, повьюжила, понасыпала сугробов, потрещала бревнами в деревянных избах, и снова запели ручьи, загорланили нетерпеливые грачи, земля, подставляя себя солнцу, скинула белые одеяла.

А с Сашкой Свиридом так ничего и не выходило у Михаськи.

Михаська ругал себя за ту драку. Не надо было тогда заводить Сашку, говорить, что предел храбрости — поладить этих овчарок. Можно же было сказать что-нибудь совсем невероятное, например, прыгнуть с парашютом. В их городе с парашютом никто не прыгает, хотя самолеты есть, летают иногда кукурузники, и все, спор бы кончился, попробуй, докажи Сашка свою храбрость, если с парашютом никак не прыгнешь. А то псы... Псы, конечно, вон они, каждый день по улице ходят. С работы и на работу. Овчарки рядом, эту храбрость можно и проверить. Доверялись!..

Юлия Николаевна еще в четвертом классе говорила: нет на свете ничего неожиданного. Все можно предусмотреть и предсказать. Это она о науке тогда говорила. Дескать, землетрясения, наводнения, ливни и снегопады — все наука может заранее предсказать. Это она к тому говорила, что бога нет.

Бога-то, может, и нет, а вот предсказать все нельзя. Невозможно предвидеть все-все.

Но разве мог Михаська предвидеть, что с Сашкой Свиридом все так случится?

Это было на уроке физкультуры. До пятого класса никакой физкультуры не было, а теперь вот стала. Раз в неделю, в пятницу, два часа подряд они делали всякие упражнения на дворе, бегали, прыгали, играли в футбол, и всем было очень весело, потому что «Шарик» на физкультуре все время шутил, смеялся и иногда даже играл в футбол прямо на уроке, если в одной команде не хватало игроков.

В ту пятницу они бегали и прыгали, как всегда, а потом Иван Алексеевич сказал, что пойдет за мячом, чтобы они поиграли напоследок в футбол. Мяч заперся в шкаф, и ключ от него учитель никому не доверял, мячик был как золотой. Он ушел, а ребята задурили, начали гоняться в пятнашки, кувыряться на траве и делать стойки на руках.

Только Сашка с Михаськой сидели на пригорке. Сашка грелся на солнышке — оно жарило словно летом, — а Михаська глядел на него и думал, как бы

ему снова заговорить с Сашкой и положить всей этой дурацкой ссоре конец. Одной ногой он упирался в булыжник. Камень поблескивал на солнце слюдяными блестящими. «Значит, гранит», — подумал Михаська.

Вдруг ребята, которые кувыркались, все враз остановились и притихли. Так даже не притихали, когда директор входил, а уж про Ивана Алексеевича и говорить нечего.

Михаська обернулся и вздрогнул. По площадке шел Савватей с компанией своих дружков. Они шагали медленно, будто нехотя, на каждом были блатные кепочки — маленькие, с малюсенькими козырьками и малюсенькими пуговками на макушке. Кепочки висели у них на самом лбу. Впереди, конечно, был Савватей и небрежно перекидывал из одного уголка рта в другой папироску.

Когда-то Юлия Николаевна рассказывала им про удавов. Удав прячется в лианах, а когда хочет есть, выползает на тропинку. Бежит какой-нибудь заяц, он поднимет голову и уставится на зайца. Тот так и присядет от страха. А удав гипнотизирует, гипнотизирует его, и заяц не может никуда убежать. Тут удав его глотает. Целиком, даже не жует.

Этот Савватей, как удав. Идет, смотрит на всех, и все затихли, глядят ему в рот, он будто всех гипнотизировал. Никто не шелохнется. Каждый ждет, что сейчас Савватей его выберет, хотя если бы все вместе навалились, туго бы пришлось этому нахалу.

Но Николай Третий идет спокойно, уверенно, подолгу смотрит в глаза мальчишкам и девчонкам, и они не смеют отвернуться, уйти, будто он и правда царь какой.

Савватей оглядел всех, никто ему не понравился, посмотрел на Сашку. Сашка под его взглядом встал, но Савватей не задержался на нем долго, только подмигнул, будто старому знакомому, и взглянул на Михаську.

Михаська вспомнил, что Сашка ведь был у Савватея «на работе», как говорил Свирид, «шестерил» ему. Ходил, значит, все время рядом, как адъютант, подносил, что Савватей прикажет, будто лакей. Но потом мать Сашкина отбила его у Савватея.

А тут он подмигнул Сашке и направился к Михаське.

Михаська видел, как медленно идет Савватей, и сердце у него в груди стучало тоже медленней, в такт его шагам, но громче и гульче. Какая-то волна захлестывала Михаську, подкапывала к горлу, как тогда, зимой, в ту памятную встречу с шакалом, и мурашки ползли по спине откуда-то из-за пояса прямо к шее.

Савватей подходил все ближе и ближе, и Михаська медленно, сам этого не чувствуя, поднимался ему навстречу. Савватей подошел совсем вплотную и протянул к Михаське руку. Свою грязную, потную лапу.

Он внутренне содрогнулся от мысли, что, может быть, Савватей проведет сейчас по его лицу этими грязными лапами — была у него такая любимая привычка, — и, не зная, что делать,

приготовился к самому ужасному. Но Савватей протянул руку к его курточке и пощупал ее. Курточка у Михаськи была новая, теплая, мать купила ее на рынке, и она очень нравилась ему. Курточка была сделана из какого-то пушистого материала, мать говорила — с начесом, что такое с начесом, Михаська не знал.

— Охо! — сказал Савватей. Он так и сказал «охо», а не «ого». — Вот ента да! — как клоун, кривляется.

Михаська не успел опомниться, как Савватей быстро вынул из кармана коробок спичек, чиркнул одной и поднес ее к курточке. Он увидел пламя, которое рванулось прямо по нему огромным желтым языком, лицо опажнуло жаром, и все кончилось.

Это произошло в какую-то секунду. Михаська глянул на курточку и охнул. По коричневой материи расходились черные, свалывшиеся клочья. Вся пушистость сгорела.

Савватей и его дружки хохотали, хлопали Михаську по плечу, и вот тут Николай Третий снова протянул к нему руку и мазнул по лицу.

То, что сгорела курточка, как-то совсем не огорчило Михаську, вернее, не успело огорчить, он просто не ожидал этого и еще ничего не успел понять. А вот этого — по лицу — этого он ждал.

Михаська наклонился и схватил камень. Он упирался одной ногой в этот камень, когда сидел на пригорке и думал, как бы заговорить с Сашкой. Камень



По площадке шел Савватей с компанией своих дружков.

был теплый, он нагрелся на солнце и поблескивал в руке у Михаськи своими слюдинками. Как палица Ильи Муромца.

Савватей отступил на шаг от Михаськи. Может быть, он посмотрел ему в глаза и увидел там что-то такое, от чего стоило отступить.

Он отступил еще на один шаг и еще на один, и вся его шайка пятилась впереди своего Савватей, задом-наперед.

Голова у Михаськи работала очень четко, и сердце больше не стучало, он вышел из-под гипноза Савватей, наоборот, он теперь сам гипнотизировал всю эту коду, всех этих дуболовов в шпанских кепочках, каждый из которых выше его на две головы. Ага, ухмыльнулся Михаська, вот они чего бояться, оружия, силы!

Он ухмылялся, и это действовало на Савватей, тот пятился все быстрее и быстрее. Михаська рассчитал, что он ударит шакала по виску. Он уже выбрал на лошадином лице шакала это местечко — там, где дрожит синяя жилка. Вот туда. Чтобы раз и навсегда.

Может, Савватей понимал, о чем думал Михаська. Он торопливо полез рукой в карман и, все так же пятясь, вытащил бритвочку, обыкновенную опасную бритвочку. Рука у него дрожала.

— Брось! — сказал он. — Брось, напишущ!

А сам все пятился назад, и впереди него вся его компания.

Михаська решил, что он не будет кидать камень, кинешь его раз, а дальше что? Один выстрел? Мало. Нет, он будет бить этим камнем. Даже взрослые боятся Савватей. Он, может, сто лет тут проживет, этот шакал и карманник. Надо его убить.

Он сделал два шага побыстрее и совсем приблизился к Савватей и замахнулся уже своим камнем, своей палицей со слюдинкой, как вдруг кто-то схватил его за руку, в которой был камень.

Михаська обернулся и увидел Ивана Алексеевича, математика и физика.

— Так убить можно! — сказал он. — Ты что, с ума сошел? Хочешь, чтоб родителей за тебя посадили?

Михаська выпустил камень и посмотрел на Савватей. Он со своей компанией стоял у забора и грозил кулаком.

— А вы вон отсюда! — сказал «Шарик» савватеевской компании и вдруг замахнулся на них камнем.

Савватей с дружкой словно испарился.

— С ними по-другому не поговоришь, — сказал Иван Алексеевич, и Михаська удивленно посмотрел на него. Учитель был первым взрослым, кто, видно, не боялся связаться с Савватеем.

Над забором появилась лошадиная морда Савватей, и он крикнул:

— Эй, ты, обгорелый, напишущ!

Савватей не бросался словами, это все знали, но Михаське было все равно в ту минуту.

— Посмотрим, кто кого! — крикнул он Савватей.

Савватей заржал, как мерин, и снова крикнул:

— Свирид! — и свистнул.

Михаська даже не понял сначала, что это так повелительно, будто своему рабу, Савватей кричит Сашке. Он обернулся к Свириду и увидел, как, потоптавшись, Сашка побрел к забору.

— А ну-ну, короче! — протяжно крикнул Николай Третий, и Сашка затрусил к забору рысцой.

Словно что-то хлестнуло Михаську. Это было обидней, чем сожженная курточка и грязные лапы Савватей по лицу.

Шакал хозяйственно покрикивал из-за забора, будто тянул за шнурок, к которому был привязан Сашка, и тот бежал, послушно бежал к заклятому Михаськиному врагу, перебежал на вражью сторону.

— Предатель! — крикнул Михаська.

Сашку будто подсекали. Он остановился на мгновение, махнул Михаське рукой, словно хотел сказать: уходи, — но Михаська не понял и крикнул снова, стараясь выбирать слова пообиднее:

— Шестерка! Лакей! Предатель!

Но Сашка уже не останавливался.

— Свиридов, вернись! — гаркнул Иван Алексеевич. — Вернись, урок еще не окончен.

Михаська усмехнулся: что значит теперь для Сашки урок, если его зовет Савватей.

А Сашка все бежал, бежал, и вдруг Михаська понял, что он проиграл, лежит на обеих лопатках, что Савватей, который только что пятился от него, — а себя при этом Михаська представлял добрым молодцем с булавой, — что Савватей этот плюет на него, плюет тысячу раз, потому что, отойдя к забору, он уведит лучшего Михаськиного друга.

Пусть они поссорились, даже подрались, но ведь Сашка — друг, друг, и если Савватей склонил его к предательству, к тому, что Сашка теперь на шакальей стороне, значит, Михаська проиграл. И это было стыднее и в тысячу раз обиднее, чем тогда, зимой...

Михаська даже вздрогнул от своей неожиданной мысли. Он сделал шаг вперед, к забору, и побежал.

— Ты что, с ума сошел? — сказал вслед Иван Алексеевич, еще не понимая, что Михаська уходит. — Они же на что угодно способны.

Михаська обернулся.

Он обернулся и улыбнулся учителю в офицерском кителе, у которого было два тяжелых ранения и одно среднее. Зря он подумал, что Иван Алексеевич — первый взрослый, который не боится связаться с Савватеем. Зря.

Михаська побежал к забору скорее, мимо застывших фигур мальчишек и девочек, которые так и стояли все это время, ни разу не шелохнувшись. Михаська улыбнулся: как пешки на шахматной доске. Пешки стоят и ждут, когда их передвинут.

А он? Кто тогда он? Может, конь? Михаське стало смешно. Он растянул рот до ушей — вспомнилась песенка про коня: «Эх, конь, конь вороной!...»

— Сумасшедший! — крикнула ему какая-то девчонка. — Еще и поет!

Ему показалось, что он в самом деле сходит с ума. Бежит в логово к Савватей — и нисколько ему не страшно.

— Вернись, Михайлов! — заорал за спиной Иван Алексеевич. — Урок не кончился, я тебе запрещаю!

«Запрещаю! — усмехнулся Михаська. — Сашке, своему отличнику, запретить не мог, а мне можешь?» Ему опять стало смешно. Просто удивительно, в такой момент — смех разбирает.

Свирид уже давно перелез через забор, Савватей ему подал руку, и они исчезли. Михаська бежал широким шагом, прижав руки к бокам, не размахивая ими, согнув в локте, как учил Иван Алексеевич на физкультуре. По всем правилам. Забор показался ему маленькой перегородкой, он перелетел через него, как птица, легко спрыгнул с него в гору жухлых листьев, и они зашумели, как миллион мышей.

Савватей с компанией стоял к забору спиной. Он вздрогнул и обернулся. Испуганно повернулись и остальные. Из-за них выглядывал Сашка.

— Ну! — выдохнул Михаська, смело шагнул к Савватей и тут почувствовал, что снова боится.

Смех пропал неизвестно куда, и вся храбрость мгновенно исчезла. Страх, липкий, как рука Савватей, ползал где-то в животе и мешал думать.

Михаське показалось, что Савватей сразу набросится на него и начнет резать своей бритвочкой, но

Савватей смотрел на него, опешивший от такой неожиданности, и не шевелился. Все остальные были его теньями. В лунную ночь идет человек, шагнет — и его синяя тень шагнет, руку протянет — и тень руку протянет, ничего лишнего не делает тень, послушная, как бобик на цепочке. Вот и все савватеевские синие тени стояли, тоже не шевелясь.

— А ты храбрый, — сказал вдруг Савватей, и все его тени посмотрели на Михаську с каким-то удивлением. Только Сашка — с жалостью. — Ну, а если мы тебя зарежем?

— Что, вам жизнь надоела? — спросил Михаська и остался доволен собой. Голос звучал нормально, без трусости. — Зарежете, поймают и расстреляют.

Савватей переступил с ноги на ногу и сунул руки в карманы. Михаська подумал, опять за бритвой, но Савватей просто спрятал руки в штаны.

— Значит, храбрый? — спросил Николай Третий, и его лошадиное лицо снова стало уверенным.

— Отпусти Сашку! — сказал Михаська.

Савватей удивленно вскинул тоненькие — ниточкой — брови. Такие брови Михаська видел в кино у каких-то красавиц.

— Ишь ты! — удивленно сказал он и снова посмотрел на Михаську с интересом. — Крупный купец пришел! Человеков покупает!..

Он посмотрел на Сашку, погладил его своей липкой рукой против волос, и Свирид не отвернулся, не отвел голову, а только моргнул и по-прежнему жалостливо глядел на Михаську.

— Ну-ну, купец первой гильдии. А за что покупаешь?

— За что хотите, — сказал Михаська и подумал, что все это ерунда, разве можно купить или продать Сашку. Разве в этом дело? Вот подойдет сейчас Савватей, и начнется.

— Ну как, паря? — обратился Савватей к своей шайке. — Продадим Свирида?

Тени заморгали, закивали головами, захихикали, не понимая, чем кончатся шутки атамана.

— Ладно, продаем! — сказал Савватей. — Не за деньги продаем. За храбрость. Ты храбрец, вот и покажи свою сидашку. На том же, на чем Свирида испытывал. Пошли!

Савватей махнул рукой, и вся толпа двинулась за ним. Михаська сделал два шага вслед за ними и остановился в нерешительности.

Николай Третий обернулся, и сказал:

— А если трусишь, покупаем тебя самого, понял? Значит, сам себя продаешь. Тогда уж берегись! — Он захохотал, понятное дело, захохотали и тени, и Михаська пошел вперед и зашагал рядом с Савватеем, снова вдруг осмелев.

Смелость накатывала на него, как речные волны. То отхлынет, то прихлынет. И почему эти волны, неизвестно. На реке — от ветра. А тут от чего?..

Они шли по городу, в сторону улицы, по которой водили овчарок, и все уступали им дорогу. Они пропускали только взрослых мужчин, давая им узенький проход. И мужчины косились на них, но молчали. Они не хотели связываться со шпаной. Еще обольют кислотой или ночью проведут по лицу бритвой.

А Михаська шел рядом с Савватеем, и его, наверное, тоже принимали за шпану, да еще за важную шпану, потому что впереди их шло всего двое — Савватей и Михаська. Остальные плелись следом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ

Ибрагим БАБАЕВ

Ветер

Он тихо подул, словно
это приснилось,
Деревья стояли стеной
перед ним,
Однако, ты видишь,
трава преклонилась,
А ветра не видно,
для нас он незрим.

Тогда он свирепей
подул и упорней
И так разъярился,
что махом одним
Могучее дерево
выдернул с корнем,
А ветра не видно,
для нас он незрим.

Но вот он поднялся
чудовищным
шквалом,
И вздыбил пучину
порывом своим,
И бешеным валом
ударил по скалам,
А ветра не видно,
для нас он незрим.

Перевел с балкарского
О. ЧУХОНЦЕВ.

РАЗГОВОР С СЫНОМ

А. ВОЛКОВ

Рисунки Ю. ВЛАДИМИРОВА
и Ф. ТЕРЛЕЦКОГО.

Ты любишь фильмы про революцию? Мой сын Саня — он, как и ты, пионер — тоже любит. Недавно посмотрели мы с ним «Человека с ружьем» (помнишь эту картину?) и разговорились. За что, мол, воевал герой картины крестьянин Иван Шадрин и что же он завоевал?

— Землю! — уверенно заявил Саня.

— Ты убежден, что этим все сказано?

— Конечно! Сам же Шадрин говорит...

— Значит, дали ему клочок земли, и он стал счастливым?

Саня задумался. Да, что-то тут не так. Клочок-то земли крестьяне и раньше имели, а после революции даже, наоборот, ни у кого собственной земли нет, вся она общая, государственная... Короче говоря, стали мы разбираться во всем сначала.

— Во-первых, — спрашиваю я сына, — кто такой крестьянин и какой он, по-твоему?

— Бедный, работает на богатого. Разутый, раздетый, усталый — семь потов с него сошло, быки его тащат...

Это Саня, видно, вспомнил какую-то картинку, изображающую пахоту на быках.

— А колхозника как представляешь себе?

— Ну, колхозник одетый, обутый, как все, сидит с сигаретой в зубах на тракторе и трактором управляет.

— А ведь колхозник — тоже крестьянин, то есть человек, работающий на земле, в сельском хозяйстве. Ты, — говорю, — просто рассказал сначала про крестьянина дореволюционного, а потом про нынешнего, советского. Как он изменился, подметил в общем-то верно, только подметил не все.

Представь себе человека, который налажи-

вает сотни электрических моторов на животноводческих фермах, на токах, где очищают зерно. Кто этот знающий и умелый мастер? Крестьянин. А девушка, которая колдует в колхозной агрохимической лаборатории над



Это рисунок из дореволюционного журнала «Новый Сатирикон». Май 1917 года.
Подпись под рисунком такая:

Помещик: — Что это ты, мужичок, на одной ноге строишь?

Крестьянин: — Да другую, вишь, поставить некуда: везде вашей милости земляца. Боюсь, еще за поправку судить будете.

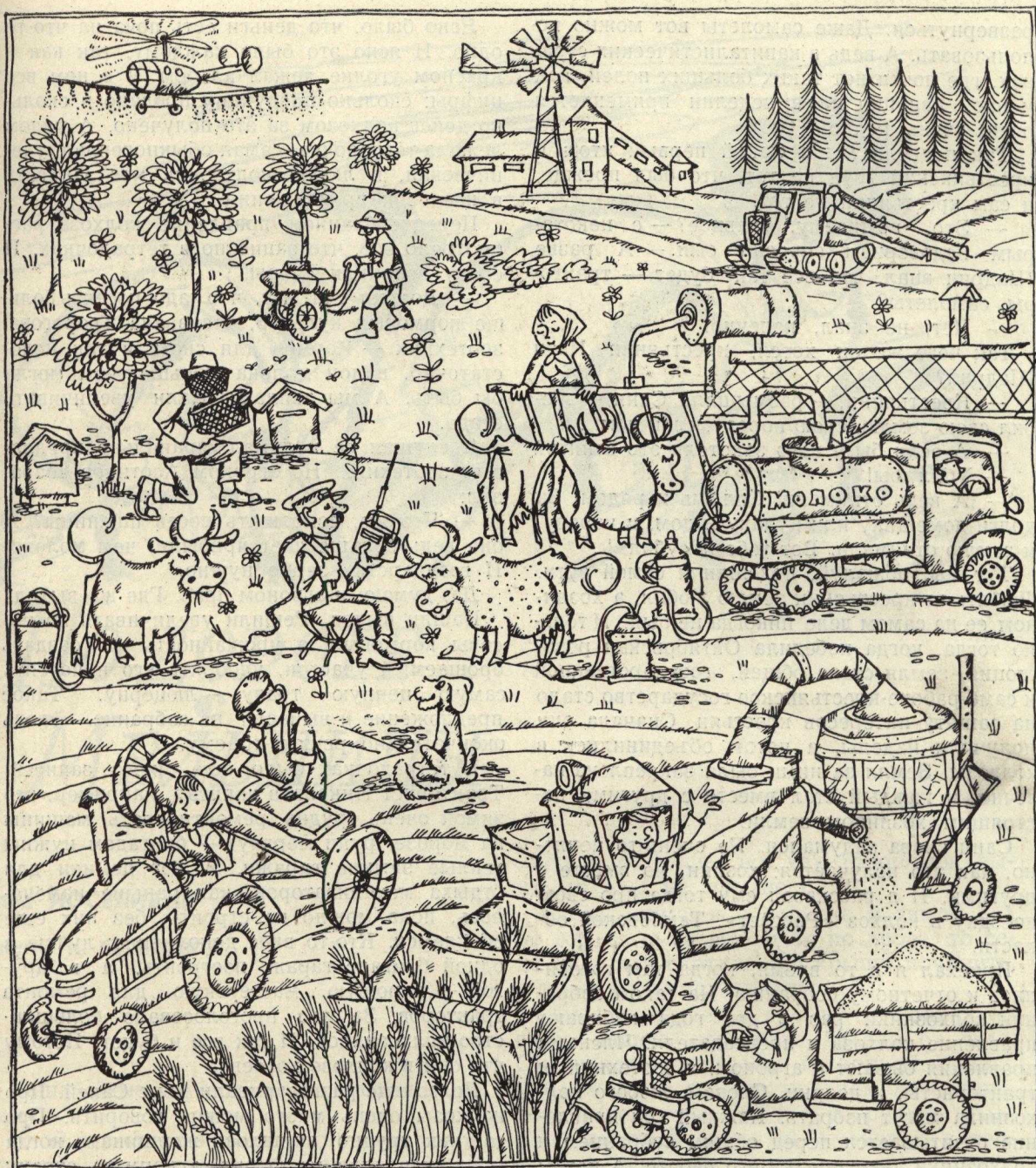


Кто работает в колхозе? Ну, конечно, трактористы, комбайнеры, доярки, пастухи, садоводы... А еще? А еще, оказывается, летчики, мелиораторы, геодезисты-земле-устроители, энергетики и люди других профессий. Их десятки!

пробирками с образцами почвы и уверенно дает потом рекомендации, сколько и каких удобрений нужно каждому полю, — это разве не крестьянка? А летчик, который с воздуха вносит удобрения на поля...

— Ну, летчик-то уж не крестьянин!

— Да, конечно. Но работу-то он выполняет крестьянскую: удобряет поле! Правда, не навозом, а химическими веществами, и не вилами с телеги разбрасывает, а с самолета... Разумеется, летчик в колхозе не состоит, но ведь и трактористы недавно были не колхоз-



На этих картинках — рассмотри их внимательно! — художники Ю. Владимиров и Ф. Терлецкий нарисовали только часть людей, работающих в колхозе. Напиши нам, какие сельскохозяйственные профессии ты знаешь еще.

никами, а рабочими машинно-тракторных станций, слышал про МТС?

Спорить, конечно, можно, кто крестьянин, а кто нет, и даже не так-то легко в этом разобраться — со столькими людьми разных и сложных профессий связано теперь сельское

хозяйство. Но несомненно: труд в крупном коллективном хозяйстве совсем не тот, что был на клочке земли. В большом хозяйстве при совместном труде силы каждого как бы умножаются, потому что можно применять мощные машины, которым на клочке и не

развернуться. Даже самолеты вот можно использовать. А ведь в капиталистических странах, где почти нет таких больших полей, как у нас, авиация в земледелии применяется очень-очень редко.

Так подвели мы с Саней первый итог: и крестьянский труд не тот, что был прежде, и сам крестьянин не тот.

— Это, по-твоему, главное? — с некоторым недоверием спросил сын. — А разве Шадрин знал, что все так будет — тракторы, самолеты?

— Нет, не знал, конечно!

Так чего же он хотел, крестьянин Иван Шадрин?

— Крестьянин, — размышлял Саня, — любил свою землю, свою корову, свой дом...

— А если бы у него захотели это отнять?

— Убил бы!

— А ведь отнимали! Сплошь и рядом! За долги помещику или кулаку и дом, и корову, и землю отнимали. Вот тебе и «убил»!.

Тут мы, пожалуй, подошли к самой сути. Любить-то крестьянин землю любил, а хозяином ее на самом деле никогда не был. И только тогда, когда победила Октябрьская революция, земля стала общей, государственной и само рабоче-крестьянское государство стало на защиту интересов крестьян. Сначала они получили наделы, а потом объединились в колхозы. Земля за ними была закреплена навечно, и каждый стал вместе с другими настоящим хозяином земли.

Саня снова задумался. Не очень-то понятно, как это получается: хозяин, но вместе с другими. И я рассказал ему тогда про свою поездку в колхоз «Рассвет», Тамбовской области.

Приехал я в то время, когда там готовились к отчетному собранию. На таком собрании колхозники раз в два года избирают правление колхоза и председателя. Членами правления бывают и агроном, и зоотехник, и трактористы, и доярки. Словом, любого колхозника могут избрать. Каждый год правление отчитывается перед общим собранием и колхозники дают оценку его работе. А потом начинается разговор о том, как вырастить больше зерна, надоить больше молока и как распределить заработанные сообща деньги. Сколько потратить на покупку тракторов, сколько на строительство школы или клуба и сколько поделить между собой по труду.

Так вот, в «Рассвете» задолго до собрания повсюду развесили плакатики; в каждом вопросе, например, такой: «Что построить в первую очередь в вашей бригаде — клуб, пекарню или столовую?»

Ясно было, что деньги есть пока на что-то одно. И ясно-это было каждому, так как в красном уголке лежал альбом, и в нем все цифры: сколько продукции продано и сколько денег колхозом за это получено. А рядом лежала тетрадоchка, самая обыкновенная, учебная, и любой колхозник мог записать в нее свои предложения.

Перед собранием правление колхоза рассмотрело все, что записано в тетрадоchках. И сразу возникли споры.

— Доярки считают, что надо посеять больше кормовых культур, — сказала Творогова, зоотехник. — Кормов для скота и так недостаточно, надои молока меньше, чем могли бы быть. А мы запланировали увеличивать стадо.

Я слушал ее и думал: правильно предлагает зоотехник. Но агроном Асотиков возразил:

— Что же, сокращать посев пшеницы? А она ведь больше дает прибыли, чем молоко. И государству зерно нужно.

Да, думаю, и агроном прав. Где же выход?

Нашли выход. Решили увеличивать не посевы кормовых, а урожайность их: создать орошаемый участок, удобрить его и посеять самую ценную траву — люцерну. Такое предложение и вынесли на собрание — ведь окончательно решать-то ему.

В тетрадоchках было еще много записей. Тракторист Николаев написал, например, что зимой очень трудно ремонтировать машины на морозе: руки мерзнут — бригадам нужны теплые зимние гаражи. А вот домики для отдыха механизаторов, как раньше намечалось, пока можно не строить, без них еще обойдемся. Кто-то внес дополнение: лучше в одной бригаде гараж построить, а в другой — хорошую мастерскую для ремонта тракторов. За это проголосовало большинство колхозников. И так все и будет. Потому что они в колхозе хозяева.

Долго еще разговаривали мы с Саней. Про колхозы очень много можно говорить. Прото, как трудно пришлось женщинам, когда мужчины ушли на фронт, а кормить страну нужно было. Как трудно было восстанавливать подчас дотла разрушенное фашистами хозяйство, ютась в холодных землянках, питаясь впроголодь. И все невзгоды люди одолели, потому что трудились не на кого-то, а на себя, работали для своего народа, потому что крестьянин у нас — настоящий хозяин своей земли и своей судьбы.

Это самое главное, как раз за это и воевал человек с ружьем Иван Шадрин.

✱



По дороге Мельницы

Отиа ИОСЕЛИАНИ

Рисунки Н. БОРИСОВОЙ.

Наша зима зачастую не похожа на зиму.

Иной раз среди января наступают такие погожие дни, что на прогретых солнцем лугах прорастает свежая травка, распрямляются подснежники на опушках и обманутые теплом сливы вдруг взрываются белым цветом на окрестных пригорках.

Что ни говори, такая погода была по душе мне и моему двоюродному брату Бату.

Война только что кончилась, и у нас не было ничего, кроме пары продранных на коленях штанов да стоптанных башмаков, которые давно просили каши. А ведь были мы уже не маленькие, и нам хотелось

одеться получше, но, как говорится, выше головы не прыгнешь.

Стояла зима, а в деревне и зимой дел по горло: то за водой, то по дрова, то сена надо для скотины, то крышу починить, а то на мельницу сходить.

Наша речка, если только ее можно назвать нашей, протекала далеко от села. Она нехотя извивалась по топкой низине, и блаженной памяти предкам не оставалось ничего лучшего, как соорудить мельницу где-то у черта на куличках в верховьях реки.

Я редко встречал людей, из года в год с удовольствием делающих одно и то же дело. Мы с двоюродным братом не составляли исключения. Мы вообще не лезли вон из кожи ради дела, но... А эта проклятая мельница была нашей бедой, нашим наказанием, с ней были связаны трехдневные просьбы, угрозы и уговоры.

Когда же в конце концов мы приносили себя в жертву и начинали собираться в дорогу, нам хотелось взять побольше

зерна зараз. Дома нам обычно запрещали тяжелые работы — мол, надорвутся ребята, но тут, взвали мы на спины хоть по полному кулю, никто не сказал бы ни слова. И мы действительно взваливали на себя такие мешки, что и взрослым мужчинам было бы не под силу.

В погожий день еще куда ни шло, но в мокрядь дорога до мельницы становилась настоящей пыткой.

За селом начинался лес. Дорога петляла по лесу, и идти по ней было нетрудно. Но дальше!.. Дорога спускалась в низину и тянулась по бесконечным вспаханным полям. После дождя она раскисала. Не глина липла к ногам, а ты прилипал к ней и никак не мог выдрать ног из вязкого, цепкого месива, как из смолы. На протяжении всего пути не было ни одного пенька, ни одной кочки, где можно было бы снять с плеча куль и перевести дух, — не в грязь же его класть. Время было послевоенное, и каждая горсть муки ценилась дороже золота.

Был субботний вечер. Погода стояла теплая, сухая, однако мы знали, что зима остается зимой и что тепло простоит недолго. Надо было успеть сходить на мельницу.

Нам с двоюродным братом случилось и ссориться и драться, но не было случая, чтобы мы врозь ходили на мельницу. Одному не под силу такая дорога.

— Придется нам сходить, Бату...

— Да, да, пора!

— Ты зайдешь за мной?

— Зайду.

— Ну смотри. Жду.

Я насыпал в мешок кукурузы. Он был тяжел для меня, но я подсыпал еще. «Погода что надо, — подумал я. — Буду часто отдыхать».

Бату запаздывал. Я уже подумывал отложить все на завтра, но он все-таки пришел.

— Где ты пропадал? Вечер на носу, — набросился я на него.

— Колодезная бадья у нас сорвалась, — угрюмо ответил он.

— Починил бы завтра.

— А до завтра как? Без воды прикажешь сидеть?

— Ну и иди теперь на ночь глядя.

— А ты попробуй не идти. Дед говорит, завтра новолуние и что это к перемене погоды...

Мы пошли. Вскинули на плечи мешки и пошли. Не доходя до леса, присели передохнуть. Дул легкий, по-вечернему прохладный ветерок.

Потом мы пошли дальше. Теперь мы шли лесом, по изъезженной, изрытой дороге. Между прелых прошлогодних листьев проглядывали первые фиалки. В лесу мы несколько раз передохнули. Но чем ближе подходили мы к мельнице, тем тяжелее становилась ноша. Ноги у нас ослабли, налились, и когда мы присаживались на мешки передохнуть, неохота было вставать и идти дальше.

Наконец показалась мельница. До нас донеслись плеск колес и далекое урчание жерновов. Мы собрали последние силы и с высунутыми от усталости языками ввалились в стоящий над рекой сруб. Ввалились, сбросили мешки возле дверей и, как рыбы, вышвырнутые на берег, стали глотать затхлый, налитанный мучной пылью воздух.

Времени на обратный путь не оставалось, да и не под силу нам было, ну а ночевать на мельнице случалось не раз, и дома об этом знали.

За полночь поднялся ветер, да так разгулялся, что наш несчастный сруб только стонал и поскрипывал. Потом полил дождь. К дождю примешался снег... Да, поляскали мы в ту ночь зубами — будь здоров!

Я не смотрел на Бату. Мне не хотелось его видеть. Я не мог переменить погоду и всю свою злость вымещал на нем. Как только не проклинал я его в душе! Если б не он, мы засветло вернулись бы домой. Я ругал его на чем свет стоит и винил во всех своих бедах. Да что говорить!.. Сыплет дождь и снег, снег и дождь.

Наутро мы долго тянули волюнку, но не поселишься же на этой мельнице! А погода — куда там! Попозже словно утихло — пришло слегка, и я прокричал:

— Ступай вперед!

Не поверите, сколько злости и угрозы вместили эти два слова... Стоило нам ступить за порог, как наши башмаки наполнились размокшим снегом. Только-только от огня, без маковой росинки во рту, в продранных штанах — для таких мальчишек это было слишком много. Я не мог простить Бату. Я не мог найти слов, чтобы обругать его как следует, и, мрачный, чуть не скрипя зубами от злости, шел за ним.

Однако идем.

Не знаю, как Бату (мне было не до него), ну а я считаю шаги. Считаю до десяти. Главное — сделать десять шагов. Если бы я тогда представил себе не десять, а сто шагов, уверен, что сбросил бы мешок в грязь и плюнул бы на все.

Так добрались мы до середины пути. Но тут снова посыпал дождь, перемешанный со снегом, мокрые хлопья повалили так густо, что не видно стало ничего, да и не на что было глядеть. Иду, наклонив голову, прижимаюсь щекой к мешку у себя на плече и еле выдираю ноги из топи.

— Рраз... два... три...

Бату шел впереди. Неожиданно он остановился, но я не обратил на это внимания. Я даже не посмотрел на него, поравнялся и на десятом шаге стал рядом. Потом начал снова:

— Раз, два, три... три... три... — долго не мог выдрать увязшую ногу, — четыре, пять... пять, шесть...

Вдруг я услышал какой-то звук. Я решил, что это стонет Бату, и не оглянулся.

— Так тебе и надо, — пробормотал про себя и стал считать дальше: — Семь, восемь... восемь...

Опять услышал странный звук, он доносился откуда-то спереди.

Я поднял голову и заметил что-то на дороге. Да какая там к черту дорога, нет никакой дороги! На голой, раскисшей от дождя и снега пашне кто-то сидит.

«Так, — подумал я. — Верно, у меня начались видения». То, что я увидел перед собой, не было похоже на человека. Снег мешал мне разглядеть, но как-никак было светло, а человека при свете дня я всегда отличу. На грязном, желтоватом снегу лежит что-то вроде пенька и скулит, плачет то ли женским, то ли детским голосом.

Я остановился.

Бату нагнал меня. Тоже смотрит в снежную муть и прислушивается.

Положим, у меня видения, но с чего тогда Бату наострил уши?

Да никаких видений. Торчит в этой жиже, в этой грязи пенек и плачет.

— Что это?

— А ты у него спроси! — Бату зло вытаращил на меня глаза.

— Отвечай, когда тебя спрашивают!

— Я вижу не больше твоего... Плачет кто-то.



На голой, раскисшей от дождей пашне кто-то сидит.

— Сам слышу, что не поет.

Мы приблизились немного. Голос-то плачущий, человеческий, но на человека это мало похоже. Слишком уж мал.

Подожли мы вплотную и видим: сидит в снегу девчонка, согнулась в три погибели, положила мешок с мукой на колени, чтоб не подмочить его, а сама припала к нему и плачет. Не узнать ее так. Голова желтоватой рогожей повязана, подол платья в грязи, а на ногах длинные шерстяные носки.

— Ты кто? — спрашиваю.

А она и не слышит.

— Эй, подними голову!

Ни в какую.

— Ты что, не слышишь? Кто ты?

Она вдруг оторвала заплаканное лицо от мешка, огляделась, увидела наши ноги и медленно подняла голову.

— Я Арета, — проговорила она, всхлипывая.

В самом деле, это была Арета. Она жила далеко от нас, но я узнал ее, и Бату тоже ее узнал. Да если б это была и не она, мы все равно не могли оставить ее здесь, посреди топкой дороги. Мы бросились к мешку, лежащему у нее на коленях, и подняли.

Но Арета продолжала плакать. Сидела в грязи и редела в три ручья.

— Ну чего ты теперь? Хватит.

Она подтянула платье на колени и заголосила громче.

— Встань, Арета!.. Перестань! Ну, перестань! Не сиди на снегу.

Куда там! Трет ладонью глаза и плачет, всхлипывает, да так горько, что сил моих нет смотреть на это.

— Что с тобой, Арета? Что ты, снега никогда не видела, что ли? Ну, успокойся.

Арета встала, но так, чтобы мы не увидели ее лица, отвернулась от нас и пошла. Мы с Бату несем поочередно ее мешок, а Арета идет впереди и плачет. Ну, что с ней станешь делать! Что придумать такого, чтобы она перестала плакать?

Снег сыплет и сыплет. А Арета все плачет. А я уже не могу ее слышать, вот-вот сам раскисну.

— Будет тебе, Арета. Послушай...

Никакого впечатления. Тогда я обернулся к Бату.

— Бату, ты хоть рад снегу?

Бату и не взглянул на меня, хотя сказал я это так громко, чтобы и Арета могла услышать.

— Глухой! Тебе говорят!

На этот раз Бату обернулся, но его взгляд красноречиво сказал мне, что если б он увидел на дороге голыш, то, не раздумывая, выпустил бы из рук мешок и хватил бы меня голышом по лбу.

— А я вот рад! — опять начал я. — Да ты и сам говорил вчера: ничего не хочу, только бы снегу навалило.

Бату словно догадался о чем-то, но выдать из себя то, чего я добивался, было выше его сил.

— Я чуть ли не на два вершка вырос от радости, когда увидел снег.

Бату пора было поддержать меня, иначе все пропало.

— К-кто же не рад снегу...

Арета перестала всхлипывать, и я все простил своему двоюродному брату.

— Вот именно! Снегу все рады. Солнце всегда на месте, а летом-то снега не дождешься.

— Ну уж, если и летом...

— Куда там... Не то, что летом, и зимой еле дождались. Арета, а ты любишь на санках кататься?

Арета промолчала.

— Не любит, — сказал Бату.

— То-то она расплакалась. А ты, Бату, потому и обрадовался, что любишь на санках кататься. И я так люблю санки, что даже сплю на них. Кто любит санки, тот и снег должен любить. Ты точно знаешь, что Арета не любит кататься на санках?

— Я знаю, что она терпеть не может снега.

— Может быть, она любит санки, но не снег.

— Что же она, по травке катается?

— Кто ее знает! — Я засмеялся.

Арета обернулась. Глядя на нее, Бату тоже рассмеялся, а я захохотал во всю глотку. Мы остановились, смеясь. Глаза у Ареты были полны слез, но она не плакала, смотрела то на меня, то на Бату и не могла понять, с чего мы так развеселились. Бату чуть не выронил от смеха ее мешок. Я вскинул его на плечо поверх своего мешка, и мы пошли дальше.

— Я не уверен, что Арета любит кататься на санках.

— Кататься-то она любит, но... — Тут меня снова разбирает смех, и я хохочу, закатываюсь.

— Арета! — кричит Бату.

Арета оглядывается.

— Любишь на санках?



— Значит, ты летом любишь на санках кататься? — Клянусь, никогда мы так не смеялись.

Арета молчит, не отвечает.

— Так любишь или нет на санках, а? На салазках?

Она кивает.

— Любит! Ты видишь, любит! — хохочу я.

— А снег?

— А снег ты любишь? — не даю я договорить Бату.

— Нет, — качает головой Арета.

— Снег не любит.

— А салазки — да.

Мы просто помираем со смеху. Потом опять.

— Арета, может, ты не расслышала из-за своего платка? Ты в самом деле любишь санки?

— Люблю, — кивает она и улыбается.

— А снег?

— Снег не люблю.

«Нет!..» — И мы опять закатываемся, чуть не валимся с ног.

— Чего вы смеетесь? — спрашивает Арета.

— Ох-хо-хо-хо-хо!

— Ха-ха-ха!

— Ну вот, заладили!

— Так, значит, на санках любишь?

— Люблю.

— А снега не любишь?

— Нет.

— Значит, ты летом любишь на санках кататься?

Попробуй тут удержаться от смеха!

Клянусь, никогда в жизни мы столько не смеялись. Оглядываемся по сторонам и видим: чуть ли не весь лес остался позади. Да, но Арету-то мы встретили не в лесу. Как это мы тут оказались? И опять нас разбирает смех. Встретились на пашне, а очутились в лесу. Идем смеемся. Тащим ее мешок... Провалиться мне сквозь землю, до сих пор не пойму, как мы дошли до дому.

Мы и после не раз ходили на мельницу и в грозу и в дождь, и опять надрывались под тяжестью мешков, и у нас подкашивались ноги. Но мы не могли догадаться, что, стоило нам зайти за Аретой — даже удлинив путь ради нее, даже взвалив ее мешок поверх своего, — и мы никогда не устали бы и насмеялись бы вволю.

Перевел с грузинского
А. ЭБАНОИДЗЕ.



ВПЕРЕДИ- СМОЛЬНЫЙ

Продолжение.

Е. ДРАБКИНА

Рисунки **Е. МЕДВЕДЕВА.**

Время было тревожное. В доме, где помещалась прежде «Правда», еще не были вставлены выбитые стекла. На могиле товарища Воинова еще не высохла земля.

В тюрьмах появились политические заключенные — большевики, арестованные по гнусному, ложному обвинению в том, что они шпионы. В «демократических» тюрьмах Временного правительства их встретили старые царские надзиратели. Те же камеры. Те же карцеры. Та же тюремная похлебка и каша, именуемая «шрапнелью».

Но симпатии масс к большевикам никогда еще не росли с такой быстротой. Даже самые отсталые рабочие, боявшиеся политики, как огня, становились на сторону революции.

В то время, летом 1917 года, я, автор этой книги, состояла членом социалистического Союза рабочей молодежи — одной из тех организаций, из которых потом вырос многомиллионный комсомол.

Среди членов Союза был невысокий шустрый паренек, которого все звали просто Ваня, а вместо фамилии Скюринко — прозвищем «Вьюнок». Где бы ни затевался спор, куда бы ни надо было проникнуть агитатору-боль-

шевику, перемахнув для этого через забор или же пробравшись в щель, сквозь которую, казалось, могла пролезть только кошка, Ваня Вьюнок был тут как тут. Он не боялся ни бога, ни черта, ни пушек, ни пулеметов, пошел бы один против целой дивизии, но испытывал невероятный, прямо панический страх перед своим отцом.

Отец этот, рабочий Путиловского завода, суровый, богобоязненный, воспитывал свое единственное чадо в строгости. Учил, что от поклона хозяину голова не отвалится, что политики — болтуны и балаболки, а истинный рабочий должен надеяться только на свои руки. В 1905 году отец на некоторое время поверил попу Гапону, но после Кровавого воскресенья разочаровался в нем, а вместе с ним и во всякой революции.

Легко представить себе его гнев, когда весной 1917 года он узнал, что сын «записался в большевики». Нимало не смущаясь тем, что Ваня уже член партии, отец приказал ему спустить штаны и отлупить ремнем по соответствующему месту.

ПО КОМПАСУ
ОКТАБРЬ
50 ЛЕТ



В редакции «Известий Совета рабочих и солдатских депутатов» Представители воинских частей пришли за свежими газетами. 1917 год.

Вскоре после июльских событий, проходя неподалеку от Невского, Ваня увидел двух безногих инвалидов, которые, громко клянясь и призывая в свидетели бога, рассказывали, что сам Ленин предлагал им за вступление в большевистскую партию по миллиону рублей германским золотом.

Ваня стал ругать инвалидов, изобличая их во лжи. Но тут появились милиционеры Временного правительства. Ваню арестовали, отвели в участок, избили, продержали ночь, а утром вытолкали в шею.

Теперь настало для него самое страшное: весь дрожа при мысли о предстоящем разговоре с отцом, брел он домой. Но решил рассказать всю правду. И в минуту, когда рассказ дошел до ареста и избития в милиции, услышал гневный голос:

— Ах ты, паршивец!

Ваня был убежден, что гроза отцовского гнева обрушится на него за то, что он, Ваня, встал на защиту большевиков. Но нет, этого не случилось.

— И ты стерпел, паршивец! — бушевал отец. — Да ты обязан был этим иродам в рожу дать! Чернильницей! Револьвером! Стулом! Рабочий не должен терпеть удара от буржуя. Ударил — получай обратно!

Потом отец ушел, а вернувшись домой, торжествуя, заявил, что отныне он красногвардеец, хотя ему уже сорок семь лет. Как два красногвардейца, они с сыном пожали друг другу руки и расцеловались.

Такова была история, которую много раз слышали мы от Вани Вьюнка.

Теперь уж он пропадал целыми сутками в Союзе рабочей молодежи и в отряде Красной гвардии. Все его помыслы, да и не его одного, были заняты тем, как бы раздобыть побольше оружия. В руках Ваня держал винтовку, которая была ростом с него самого. Отцовское пальто, в которое он был одет, перепоясывала пулеметная лента, а за нее были засунуты пистолет и тесак времен Петра I.





Анкеты порой кажутся скучными. Но в простых шершавых листах бумаги с вопросами и ответами, которые мне суждено было впервые держать в руках, был заключен неповторимый кусок истории...

Однажды — это было на исходе июля 1917 года, — возвращаясь с работы, я зашла в Выборгскую районную думу к Надежде Константиновне Крупской, и она мне сказала, чтоб я помогла товарищам из секретариата VI партийного съезда, который должен был открыться.

Время, как я уже говорила, было беспокойное. Большевиков преследовали. Что ждало партию впереди?

Отвечая на этот вопрос, один наш молодой товарищ, не сумев справиться со словами «вариант», «оптимистический» и «пессимистический», сказал на собрании:

— Перед нами, товарищи, два вероянта: оптимальный и пессимальный...

Собрание захохотало, и по свойственной большевикам любви к острому, необычному слову так и пошло: «пессимальный вероянт», то есть поражение революции, и «оптимальный вероянт».

Возможность «пессимального вероянта» учитывали. Одно из неприменных большевистских правил гласило: «Надейся на луч-

шее, но будь готов к худшему». Имелись товарищи (в том числе моя мама), которые добывали надежные паспорта, припрятавали шрифты для подпольных типографий, подыскивали квартиры, которые в случае «пессимального вероянта» можно было бы превратить в нелегальные. Но партия в целом сплачивала силы для иного, для «оптимального» варианта, в который твердо верила даже в самые тяжелые, в самые трудные дни.

Чтобы обеспечить победу этого варианта, собрался VI съезд партии. И вот мне было поручено помочь товарищам, которые обслуживали работу съезда.

Всю ночь я спала плохо и проснулась рано, взволнованная, с бьющимся сердцем: ведь это было первое серьезное партийное поручение в моей жизни. И когда я пришла в дом «Сампсониевского братства», в котором начал свою работу съезд, и Свердлов велел мне достать тряпку и протереть окна, я восприняла это как важное партийное дело.

Задолго до назначенного часа стали подходить делегаты. Они тоже включались в работу: таскали стулья, передвигали скамьи. Наконец все было готово.

Единственным документом, оставшимся от работ съезда, является краткая секретарская запись — на стенографисток у партии не было средств, да и нельзя было пускать на этот полулегальный съезд посторонних людей.

Секретарская запись сообщает, что съезд был открыт старейшим его делегатом Михаилом Степановичем Ольминским. Он произнес вступительную речь. Затем были заслушаны приветствия питерских рабочих. Затем избран президиум. Затем обсуждался порядок дня и был утвержден регламент.

Все так и было. Однако скупая запись ни словом не передает того глубокого волнения, которым были охвачены собравшиеся здесь, в этом убогом зале с плохо выбеленными стенами. Она не рассказывает о том, как они встречались друг с другом; как всматривались в лица, порой не сразу узнавая бывшего товарища по тюремной камере; как, словно о чем-то обиденном, вспоминали о трагических событиях, пережитых вместе, — провалах, арестах, годах одиночного заключения, тюремных бунтах, избиениях, каторжных работах, побегах; как делились рассказами о борьбе, которую вели сегодня...

Мне было поручено раздать делегатам съезда анкеты, потом собрать заполненные бланки и сделать по ним сводку.

Анкету заполнил сто семьдесят один делегат съезда. Они проработали в революционном движении в общей сложности тысячу

семьсот двадцать один год. Их пятьсот сорок девять раз арестовывали, более пятисот лет провели они в тюрьмах, ссылках, на каторге. Половина их имела высшее или среднее образование, другая половина получила лишь низшее, некоторые определили свое образование как «тюремное». Многие из тех, кто, перекидываясь шутками, сдавал мне заполненные листы анкеты, всего лишь несколько месяцев назад сидели за решеткой или звенели кандалами «во глубине сибирских руд».

Сегодня, когда они собрались на своем партийном съезде, против них ополчились все силы старого мира. «Большевики зашевелились», — злобно писала буржуазная печать и призывала к расправе над делегатами.



Вася Алексеев — первый председатель Петроградского комитета социалистического Союза рабочей молодежи.

Примерно на четвертый день работы съезда на Выборгской стороне появились какие-то подозрительные шайки. Они бродили по улицам, явно готовя то ли провокацию, то ли нападение, и съезду пришлось перенести свои заседания на Нарвскую заставу. Но никто бы, глядя на его работу со стороны, прислушиваясь к жарким спорам, прерываемым порой веселым смехом, к докладам, в которых давался мастерский анализ обстановки в стране, к едким репликам и тонким шуткам, — никто не подумал бы, что эти люди, целиком поглощенные общим делом, знают, что им угрожает смертельная опасность...

Шел второй или третий день съезда, когда дверь в переднюю комнату, где я сидела, рас-

пахнулась и появился делегат Кронштадта Флеровский вместе с каким-то матросом, державшим в руках большую пачку газет. Длинная, худая фигура Флеровского выражала восторг и воодушевление.

— Давай, давай сюда! — говорил он.

Матрос, смущенно и гордо улыбаясь, прошел мимо меня, бережно неся свою пачку.

Между тем ровный негромкий гул, который доносился из зала заседания, вдруг прервался. Послышались возгласы, восклицания.

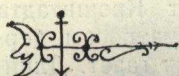
Войдя в зал, я увидела, что делегаты обступили Флеровского, который раздавал им какие-то тоненькие книжки. Некоторые получили уже эти книжки и впились в них, каждый на свой лад: Ольминский — низко нагнувшись над столом и вороша рукой буйные седые кудри; делегат Харькова Артем — широко раскрыв глаза, со счастливым выражением красивого умного лица; московский делегат Усиевич, достав карандаш, набрасывал на листе бумаги быстрые заметки; Свердлов вертел незажженную папиросу и машинально постукивал ею по спичечному коробку, а Серго Орджоникидзе — тот не смог усидеть на месте, он читал, стоя, и время от времени восклицал: «Правильно! Правильно, товарищ Ленин!»

Это была брошюра «К лозунгам», в которой Ленин ставил перед партией как самую близкую задачу завоевание пролетариатом при поддержке беднейшего крестьянства государственной власти. Написанная в Разливе, у стога сена, эта брошюра была напечатана в Кронштадте и доставлена на съезд. Высказанные в ней Лениным мысли определили ход и направление работ съезда.

В Манифесте, обращенном ко всем трудящимся, ко всем рабочим, солдатам и крестьянам России, съезд призвал их под знамя большевистской партии. «Только эта партия, наша партия, осталась стоять на посту, — говорилось в Манифесте. — Только она в этот смертный час свободы не покинула рабочих кварталов... Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны!»

Поздно вечером возвращались мы из-за Нарвской заставы, где проходили последние заседания съезда. Светила луна, на земле чернели неподвижные тени домов. Мы шагали по середине мостовой в ритм словам, которые звучали в душе: «Только она... Только наша партия...»

ОКОНЧАНИЕ
В СЛЕДУЮЩЕМ
НОМЕРЕ



Театр «ФОНАРИК» открывает второй театральный сезон.

Первая премьера этого года посвящается юбилею Великого Октября.

Ставим новую пьесу для праздничного вечера.

Режиссер Герман Алексеев дает вам первый режиссерский урок.

Мы знаем много интересных книг, в которых «живут» наши любимые герои. Но «живут» они чаще всего в повестях или в романах, рассказах, а не в пьесах. А хочется найти интересную пьесу, которую можно поставить на школьной сцене к празднику революции. Что делать?

Конечно, надо делать инсценировку. Но как? Ну что ж, поговорим об этом.

Предлагаю остановить внимание на повести Ю. Яковлева «Мой боевой друг», напечатанной в нашем журнале в прошлом году в номерах 11-м и 12-м. Откройте эти номера и очень внимательно прочтите повесть. А когда прочтете, продолжим наш разговор.

Я думаю, вам понравилась повесть. Мальчуган полюбился вам. Ему бы быть поэтом сейчас, но он погиб. Вспомним теперь, были ли в повести такие места, которые вы читали затаив дыхание. Наверное, были, если вам повесть действительно понравилась. Назовем их местами наиболее сильного вашего сопереживания. Вот что отметил я для себя:

1. Первая встреча Коти с летчиком.
2. Неожиданный поворот событий: летчик хочет застрелить Котю.
3. Котя нашел Яшечкина в госпитале.
4. Вторая встреча с летчиком. Котя узнает, что летчик — враг!
5. Последняя встреча с летчиком. Смерть Коти.

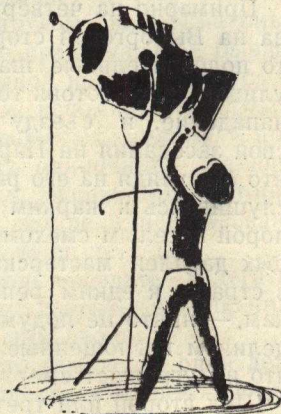
Итак, мы выделили пять основных сцен, которые обязательно войдут в пьесу. Рассмотрим первую из них. «Первая встреча Коти с летчиком». С нее начать нашу пьесу нельзя. Дайте ее кому-нибудь почитать отдельно от повести — она никого не взволнует как взволновала вас, будучи в повести. Чего-то ей будет не хватать. И знаете чего? Перед тем как начать эту сцену, надо показать и объяснить все условия встречи Коти с летчиком. Вот они, эти условия, которые и делают сцену интересной:

1. Котя — очень впечатлительный мальчик.
2. Недавно он увидел аэроплан впервые.
3. Он видел, как пилот помахал рукой, именно ему помахал.
4. Все последующее время он только и думал об аэроплане и даже написал стихи о смелом красном авиаторе.
5. Он читал эти стихи красноармейцам и тем самым делился с ними своим настойчивым желанием увидеть аэроплан еще хотя бы раз.

Значит, все эти пять пунктов мы должны разместить в предыдущих сценах. Каждый пункт — это эпизод. Надо выбрать из повести все эти эпизоды.

Теперь встреча с пилотом будет читаться с большим интересом. Но на этом сцена встречи не кончается. Сейчас нас ждет неожиданный поворот: пилот простится с Котей и вдруг вынет из кобуры револьвер и прицелится в Котю. Я знаю, в этот момент у вас замерло сердце. Котя ничего не видел, а вы за него пережили страшную опасность, которая нависла над ним. И не только опасность.

Проверьте свое впечатление повнимательнее. После этой встречи Котя останется жив, опасность минует, однако у вас останется ощущение жесточайшего обмана. Подготавливая сцену встречи с пилотом, мы бережно выписали пять пунктов — пять эпизодов, мы строили из этих эпизодов радостную встречу, как строят дом. И вот дом рушится. Ужасно, когда рушится дом. Но картина в сто раз трагичнее, когда мы знаем, что под обломками дома может погибнуть что-то живое.



Посмотрим, что у нас находилось в «доме», перечтем наши пять пунктов и добавим еще один — главный:

6. Котя ждал встречи с пилотом и заранее любил его.

Именно любил! Это очень важно. Если это мы сумеем подчеркнуть, наша пьеса наполнится трагическим содержанием. Ведь на протяжении всей пьесы Котю будет ожидать не только опасность, но и горькое разочарование в его романтической любви к своему кумиру.

Но вернемся к повести. Попробуем исследовать следующий пункт — «Котя нашел Ящечкина в госпитале».

Не думайте, что это место в повести понравилось вам только потому, что вам пришлось беспокоиться, найдет Котя Ящечкина или не найдет. Просто вы уже дочитали до того места, где Ящечкин и Котя становятся большими друзьями. Разлука только укрепила их дружбу. Однако, чтобы их встреча выросла в волнующую сцену, необходим, как и в первом случае, который мы разбирали, ряд условий. Вот эти условия:

1. Котя и Ящечкин встретились на войне.

2. Их сблизила сама жизнь, они стали заботиться друг о друге.

3. Ящечкин подарил Коте ремень.

4. Потом Ящечкина тяжело ранили. Друзья расстались.

5. О герое Ящечкине Котя написал стихи.

6. Котя почувствовал, что ему без Ящечкина очень одиноко.

7. Котя долго искал друга и...

Теперь волнение при встрече будет понятным. Но я хочу привлечь ваше внимание ко всей проделанной нами работе в целом. Мы нашли в повести места наиболее сильных сопереживаний и нашли к каждому из них ряд условий. Один ряд условий определяет отношения Коти с пилотом, другой определяет отношения Коти с Ящечкиным. Понятно, что эти отношения враждебны друг другу. Они называются — действие и контрдействие пьесы. Давайте соединим два наших ряда условий в один ряд, но так, чтобы контрдействие всегда мешало действию. Так бывает и в жизни. Например: на дворе стоит хорошая погода, и вы хотите поиграть в футбол. Но ваш сосед хочет, чтоб вы пошли с ним на рыбалку, и потому чинит вам различные препятствия. Он запер ваш футбольный мяч в шкаф, а ключ спрятал. Вы начинаете искать ключ от шкафа, но ваш сосед разбил в комнате лампочку, и теперь вам предстоит искать ключ в темноте. Вы все-таки, пользуясь спичками, находите ключ, но он повешен слишком высоко, чтобы его можно было достать, даже встав на цыпочки, и так далее.

Ясно? А вот как будут складываться действие и контрдействие в нашей пьесе. Чтобы они были уравновешены, я вынужден буду в некоторых местах немного переставить события или даже изменить их.

1. Командир привел Котю на батарею к Ящечкину. Они познакомились и заинтересовались друг другом, НО...

Но в это время над их головами пролетел аэроплан.

2. Котя и Ящечкин подружились. Они были все время вместе, НО...

Но Котя все время не переставал думать о летчике и даже написал стихи о смелом красном авиаторе.

3. И вот однажды Котя увидел приземлившийся аэроплан и познакомился с пилотом, НО...

Но пилот хотел застрелить Котю.

4. Все обошлось благополучно: у пилота не оказалось патронов, Котя вернулся к Ящечкину, НО...

Но находит его тяжело раненным. Ящечкина отправляют в госпиталь, неизвестно куда.

5. Котя ищет Ящечкина, НО...

Но находит не Ящечкина, а пилота.

6. Ему удалось найти и Ящечкина. Это была радостная встреча, НО...

Но и здесь Котя стал рассказывать другу о смелом красном авиаторе.

7. У Коти нет другого выбора — он непременно станет летчиком, НО...

Но при новой встрече с пилотом он узнает, что пилот — враг.

8. Пилот — враг. Котя хочет его задержать, НО... Но пилот стреляет в Котю.

9. Ящечкин вышел из больницы, НО...

Но его никто не встретил. Котя был убит.

Ни в одном из девяти эпизодов не присутствуют ни мама, ни папа Коти. Что делать! Они не могут чем-нибудь помочь «борьбе» между действием и контрдействием и потому не войдут в нашу пьесу. В ней останутся только Котя, Ящечкин, военлет Капранов и два-три эпизодических действующих лица, которые будут как бы связывать героев со средой, с обстановкой, в которой происходит действие.

Повесть начинается разговором между ребятами, нашими современниками. Могут ли они попасть в состав действующих лиц? Погодите сразу их отвергать. Мы все время говорили о содержании пьесы и забыли о форме. Конечно, пять пионеров, с которых начинается повесть, никак не могут повлиять на ход событий нашей пьесы, однако в повести они помогли автору собрать наше читательское внимание. Почему бы и нам не воспользоваться таким приемом? С ними форма нашей пьесы несколько изменится. Мы будем не только показывать события, но и рассказывать о них. Если Командир и Анна Павловна нужны нам как лица, осуществляющие связь между героями и средой действия, то пять пионеров, ведущих спектакль, могут стать связующими между сценой и зрителем.

Вот теперь можно положить перед собой чистую тетрадь, снова раскрыть повесть и начинать писать по ней пьесу. Я сделал это и предлагаю вам свой вариант инсценировки. Буду рад узнать, как вы ее поставили.

А может быть, вы внесете в нее и что-то еще, от себя?





Пьеса по одноименной
повести Ю. Яковлева.

Герман АЛЕКСЕЕВ

Рисунки Е. МЕДВЕДЕВА.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

КОТЯ МГЕБРОВ-ЧЕКАН, мальчик девяти лет.
ПИЛОТ, военлет Капралов, молодой человек.
АННА ПАВЛОВНА, его мать, пожилая женщина.
ЯШЕЧКИН, ездовой, человек лет сорока пяти.
КОМАНДИР, человек лет тридцати.
ВЕДУЩИЕ, пять мальчиков, сверстников Коти.

Действие первое

В сумерках у вечного огня на Марсовом поле в Ленинграде остановились пятеро ребят. Они смотрят на темную гранитную плиту, где в числе долгого списка погибших борцов за революцию вдруг осветилась строчка:

«ЮНОМУ АРТИСТУ-АГИТАТОРУ КОТЕ МГЕБРОВУ-ЧЕКАН
1913—1922».

ПЕРВЫЙ. Он был на войне?

ВТОРОЙ. Был, раз погиб.

ТРЕТИЙ. Он летал на боевом самолете?

ЧЕТВЕРТЫЙ. Тогда не было самолетов.

ПЯТЫЙ. Были! Он летал на аэроплане. Белые выстрелили. Аэроплан загорелся. А парашютов тогда не было.

ПЕРВЫЙ. Зачем ему парашют, если он был пулеметчиком на броневике? А в броневик попал снаряд!

ВТОРОЙ. Может быть, он был барабанщиком? (Поет). «Погиб наш юный барабанщик...»

ТРЕТИЙ. Ребята, он же был артистом и агитатором. Там написано.

ЧЕТВЕРТЫЙ. Да... (Читает). «Юному артисту-агитатору».

ВТОРОЙ. Вот видите!

ПЯТЫЙ. Все равно он летал на боевом аэроплане.

ТРЕТИЙ. Он перевязывал раненых. Пока не погиб сам.

Все пятеро ребят повернулись к зрительному залу и подошли поближе, заслонив собой гранитную плиту и вечный огонь. Теперь каждый из них говорит в зал.

ПЕРВЫЙ. Мы спорили, потому что ничего не знали о нем...

ВТОРОЙ. Пламя вечного огня не колыхалось, только вздрагивало.

ТРЕТИЙ. Оно было похоже на сердце, которое продолжает биться...

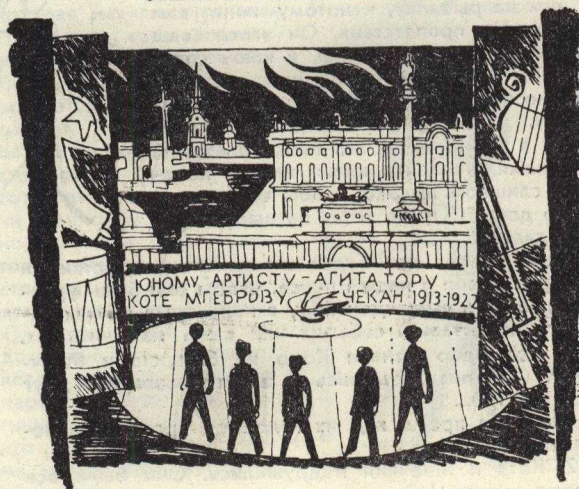
ЧЕТВЕРТЫЙ. Оно будто рассказывало историю о юном артисте-агитаторе.

ПЯТЫЙ (стоит в середине, будто объявляя начало спектакля). Тысяча девятьсот девятнадцатый год.

И тотчас отовсюду послышался далекий гул. Слышен цокот подков артиллерийских лошадей.

ПЯТЫЙ (прислушался, потом продолжает). Слышите? Это красный артиллерийский полк уходит на фронт, чтобы громить Юденича.

Слышатся голоса командиров:



— Третья батарея, подтянись!

— Эй, ездовые четвертого орудия, что вы там заснули? Подтянись! Подтянись!

ПЯТЫЙ (продолжает). Белые войска захватили Ямбург и Псков и приближались к Петрограду. Питерский фронт стал самым важным фронтом республики.

Все пятеро расступились, и глазам зрителя предстала сцена: навстречу вошедшему командиру встал красноармеец. Посреди сцены на барабане сидит мальчик.

КОМАНДИР. Вольно, Яшечкин. Принимай в расчет бойца.

ЯШЕЧКИН (удивился). Что мне с ним делать?

КОМАНДИР. Посади его к себе и, главное, следи, чтоб не свалился с передка.

ЯШЕЧКИН. Ясно, только...

КОМАНДИР. Не только, Яшечкин! Не только пушки везем. Вместе с нашим полком на фронт отправляется Героический рабочий театр. Мальчик едет с театром. Исполняйте команду, Яшечкин, а не то вам на пушку декорацию повешу.

ЯШЕЧКИН. Есть исполнять!

Командир ушел. Яшечкин и мальчик переглянулись долгим взглядом.

ЯШЕЧКИН. Что у тебя в бочке?

МАЛЬЧИК. Это барабан санжюотов.

ЯШЕЧКИН. А-а...

МАЛЬЧИК. Меня зовут Котя. А вас как?

ЯШЕЧКИН. Яшечкин. (Помолчал). Ты тоже артист?

КОТЯ. Артист.

ЯШЕЧКИН. На голове стоять можешь?

КОТЯ. Нет.

ЯШЕЧКИН. А шпаги глотать умеешь?

КОТЯ. Нет.

ЯШЕЧКИН. А что же ты умеешь?

КОТЯ. Я подношу патроны... в спектакле.

ЯШЕЧКИН. Подносчик патронов, что ли?

Это любой солдат умеет.

КОТЯ. А еще я стихи пишу. Не верите? Честное благородное. (Читает).

Возле цирка на Фонтанке
Продавал мужик бараңки.
А бараңки были с маком.
Отдал их мужик собакам.

А вы наводчик?

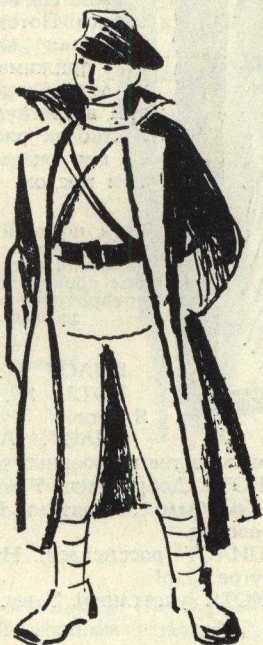
ЯШЕЧКИН. Замковой.

КОТЯ. Пушку на замок запираете?

ЯШЕЧКИН. Не пушку, а снаряд... засылаю снаряд в патронник, закрываю орудийный замок.

КОТЯ. А ключ от замка в кармане?

ЯШЕЧКИН. Это амбарный замок запирается ключом, а орудийный — другое дело. Поживешь — увидишь.



Снова приблизился гул. Послышался цокот подков артиллерийских лошадей.

ЯШЕЧКИН. Ну, тронулись, кажется.

Знакомый голос командира скомандовал:

— Арш!

И сразу загревели, заработали сотни тяжелых колес. Снова выстроились на сцене пятеро ведущих.

ПЕРВЫЙ. Лошади третьей батареи переходили на рысцу, грохот становился еще сильнее...

ВТОРОЙ. В небо поднялось облако пыли.

ТРЕТИЙ. Люди стояли вдоль тротуаров и провожали уходящих на фронт...

ЧЕТВЕРТЫЙ. Кто махал платком, кто торопливо крестился.

ПЯТЫЙ. Пришли в движение городские мальчишки.

ПЕРВЫЙ. Дяденька, прокати!

ВТОРОЙ. Дяденька, возьми меня с собой! Я снаряды буду таскать.

ТРЕТИЙ. Особый интерес мальчишек вызвало второе орудие третьей батареи. На двухколесном передке рядом с красноармейцем сидел мальчик.

Все пятеро ведущих обернулись к Коте и замерли, пораженные. Шум движущейся батареи не прекратился. Пауза. Наконец пятый решился крикнуть.

ПЯТЫЙ. Эй ты! Покатался, дай другим.

И тотчас шум стих. Котя спокойно поднял глаза.

КОТЯ. Я не катаюсь. Я на фронт еду.

Все пятеро ведущих удивленно переглянулись, а потом задумались, глядя в зал.

ПЕРВЫЙ. Я бы тоже поехал на фронт...

ВТОРОЙ. Вот так же... на передке...

ТРЕТИЙ. Чтoб дымный ветер войны дул в лицо...

КОТЯ (соскочив с барабана, выбежал вперед, глядя вверх). Смотрите! Аэроплан!

Все тоже подняли головы. Послышался треск аэроплана.

ПЕРВЫЙ. Он летел низко над землей.

ВТОРОЙ. Летчик перегнулся через борт кабины и помахал рукой в кожаной перчатке...

КОТЯ (подбежал к Яшечкину). Смотрите, это он мне машет!

ТРЕТИЙ. От пролетающего аэроплана над колонной просвистел ветер, и тень крыльев скользнула по траве.

ЧЕТВЕРТЫЙ. Аэроплан удаляется.

ПЯТЫЙ. Вот он скрылся совсем.

ПЕРВЫЙ. А Котя все еще смотрел вдаль...

КОТЯ (робко начинает читать).

Смелый красный авиатор
В бой ведет аэроплан...

Дальше у него не получается.
Он повторяет:

Смелый красный авиатор
В бой ведет аэроплан.

Послышалась команда:

— Сто-ой! Батареи в укрытие! Первая налево, вторая направо... Конные, сле-зай! Орудие с крюка! Распрягай!

КОМАНДИР (быстро выходит на сцену, за ним едва поспевает красноармеец). В чем дело?





КРАСНОАРМЕЕЦ. Не можем мы ждать до завтра. Мы только что из боя, а завтра снова в бой.

КОМАНДИР. Вы опять насчет артистов?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Без них мне нельзя возвращаться.

КОМАНДИР. А что я могу сделать? Вторая колонна с артистами подойдет завтра утром. Завтра приходите...

КРАСНОАРМЕЕЦ. Завтра в бой!

КОТЯ (повернулся к красноармейцу). Можно я с вами поеду?

КРАСНОАРМЕЕЦ. Не до тебя!

КОТЯ. Я стихи умею декламировать.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Артист?

КОТЯ. Артист.

КРАСНОАРМЕЕЦ. Валяй!

Все замерло на сцене. Котя повернулся к зрительному залу. Как и несколько минут назад, его взгляд снова будто отыскивает улетающий аэроплан. Котя читает стихотворение.

Смелый красный авиатор
В бой ведет аэроплан.
В этот бой его послали
Пролетарии всех стран.
На его аэроплане
Звезды красные горят.
Белым толстым генералам
Не отдаст он Петроград.
У него в кабине бомбы,
А в руке зажат наган.
Он ведет корабль воздушный,
Как бесстрашный капитан!

В то время, когда Котя читал свое стихотворение, на сцене постепенно наступила темнота. Только сам Котя был выхвачен из темноты прожектором. В темноте сцена опустела. На ней остался только Котя. Когда Котя дочитал стихотворение до конца, на заднике сцены появилось изображение самолета. (Проекционный фонарь, диапозитив).

КОТЯ (торопливо, будто говорит о чем-то неважном). Концерт прошел хорошо... Я прочел много стихов. Мне аплодировали, как настоящему артисту, но об этом я уже не помню... потому что однажды.. Я шагал по дороге. И вдруг я услышал гул. Все громче, громче. И над лесом пронесся аэроплан. Он летел так низко, что чуть не сбивал верхушки деревьев. На его крыльях горели красные звезды. Потом произошло что-то такое... Аэроплан закашлялся, накренился и стал прижиматься к земле. И вот он уже не летал, а подпрыгивал на кочках. Потом вздрогнул, остановился и запутался в стеблях ржи. Я подбежал к машине. От нее тянуло жаром и пахло перегретым маслом.

Котя подходит к изображению самолета и внимательно разглядывает его. Появляется пилот. Снимая перчатки, он вышел сбоку сцены, поднял на лоб очки и превратился в обычного человека. Котя застыл в большом волнении.

ПИЛОТ. Ты откуда взялся?

КОТЯ. Я.. (Не знает, что сказать). Я артист.

ПИЛОТ. Любопытно. Что ты делаешь на театре военных действий? Доброволец?

КОТЯ. Доброволец. У меня нет бабушки. Меня не с кем было оставить в Петрограде. Вот я и... доброволец.

ПИЛОТ (рассмеялся). Ну, раз нет бабушки, тогда другое дело!

КОТЯ (участливо). У вас аэроплан сломался?



ПИЛОТ. Одна штуковина отка-
зала.

КОТЯ. Я сейчас сбегаю к Яше-
кину. Он починит.

ПИЛОТ. К какому Яшечкину?

КОТЯ. Вы не знаете Яшечкина?
Он все может. Вот если пушка,
например, сломается — он даже
пушку починит. Я его попрошу, и
он обязательно придет, потому что
он мой самый лучший друг. Он
мне обещал буденовку подарить.

ПИЛОТ. Буденовку?

КОТЯ. Да. Буденовку с красной
звездой. С такой, как на крыльях
вашего самолета!

ПИЛОТ. О! Стало быть, ты крас-
ный!

КОТЯ. А кто же?

ПИЛОТ. А я подумал, что ты
белый...

КОТЯ. Что вы?! Это, наверное,
из-за волос. Они у меня длинные
выросли, но, как только к нам на
батарею парикмахер придет, я
тотчас остригусь. Как вас зовут?

ПИЛОТ. Военлет Капралов.

КОТЯ. А меня Котя. Я вас ви-
дел. Вы летели над нашим полком
и махали мне рукой. Помните?

ПИЛОТ (засмеялся). Помню.

КОТЯ. А вы... в самом деле мне махали или так?

ПИЛОТ. В самом деле.

КОТЯ. Ой, что вы!..

ПИЛОТ. Далеко до наших?

КОТЯ. Видите колокольню? Мы там. Ой, слушайте,
пойдемте вместе. Я вас с Яшечкиным познакомлю.

ПИЛОТ. Вместе нельзя.



КОТЯ. Почему?

ПИЛОТ. Мне надо быть при машине. Я за нее го-
ловой отвечаю.

КОТЯ. Вы не думайте, я не собираюсь поступать на
сцену. Когда я вырасту, то буду, как вы, военлетом.

ПИЛОТ. Отлично. А теперь беги.

КОТЯ. Я быстро!

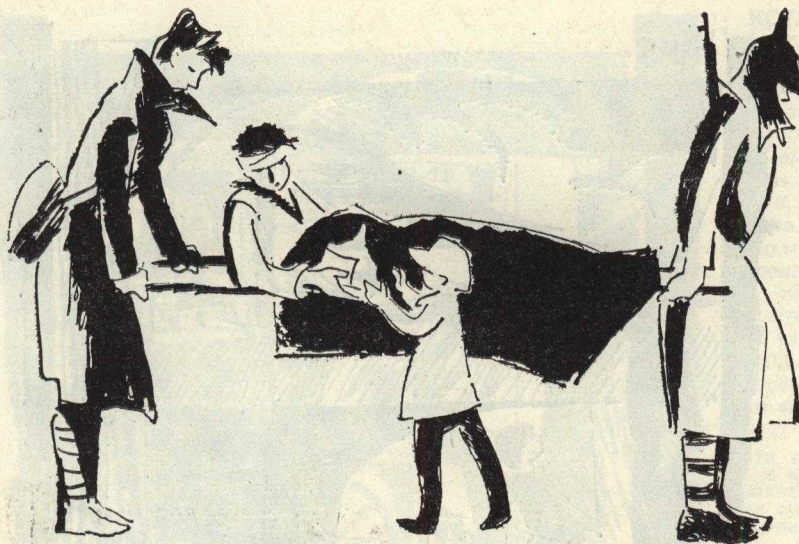
Котя повернулся и побежал. Провожая
его взглядом, пилот быстро достает из ко-
буры револьвер и прицеливается. Раздает-
ся щелчок. Но выстрела не последовало.

ПИЛОТ. Патронов нет! Черт возьми!



Вот видите, как просто устроить сложные на первый
взгляд декорации. Задник, на котором изображаются
то улицы революционного Петрограда, то госпитальная
стена, можно нарисовать на клеенных полосах обоев.
Ящик с нарисованной частью колеса отлично сойдет
за передок орудия, а кровать или столик дежурной се-
стры сразу создадут ощущение госпиталя.





Затемнение.

В темноте тяжело ухнул взрыв. Потом второй, третий. И началась канонада. Где-то далеко прокричал Котин голос:

— Яшечкин!

Но тотчас был заглушен новыми взрывами. Постепенно осветилась сцена. На ней стоят пять ведущих.

ПЕРВЫЙ. В этот день войска Юденича последним усилием решили оказать сопротивление Красной Армии.

КОТЯ (оглушенный канонадой, вбегает на сцену). Яшечкин!

ВТОРОЙ. Их попытка прорвать фронт оказалась безуспешной, но бой был жестоким.

КОТЯ (обращаясь к Третьему). Яшечкина здесь не было?

ТРЕТИЙ. Яшечкин был в бою.

ЧЕТВЕРТЫЙ. Вражеский снаряд, разорвавшийся на огневой позиции, ранил его рваным куском металла.

КОТЯ. Он жив?

ПЯТЫЙ. Да.

Два красноармейца вносят раненого Яшечкина.

ЯШЕЧКИН (глядя на Котю). За малым присматривайте.

КОТЯ. Яшечкин, что с вами?

ЯШЕЧКИН. Ничего, ничего... На войне случается.

КОТЯ. Я отомщу им!

ЯШЕЧКИН. Но-но-но... Без тебя отомстят. Я еще сам отомщу. Ты что думаешь...

КОТЯ. Доктор был?

ЯШЕЧКИН. Зачем доктор? Фельдшер перевязал — и ладно... Ты иди, иди. Погуляй... Жаль, подметки не успел тебе сменить. Износились. Погоди. Поближе встань.



Вон... буденовку новую получил. Возьми. Я обещал. Гляди, какая звезда хорошая. Носи. Не беда, что великовата, а то осень скоро — уши будут мерзнуть. Примерь-ка. (Глотая слезы, мальчик берет буденовку и прижимает ее к груди). Ну, примерь, примерь, дай на тебя поглядеть. (Котя надевает буденовку). Хорошо. Хорошо. На, еще пояс мой возьми. Бери, говорю! Попроси кого-нибудь дырку сделать. Сам-то я сейчас не могу. Боец должен быть подпоясан... Ну, прощай...

Раздалась команда: «Раненых на подводы!» Красноармейцы взяли носилки.

ЯШЕЧКИН. Я тебя разыщу. Найти в Петрограде театр куда легче, чем лазарет. Тем более, что лазаретам теперь нет числа, а театр я всегда найду. Прощай!

Яшечкина выносят. Входит командир.

КОМАНДИР. Котя, я понимаю, тебе сейчас очень трудно...

КОТЯ. Я слушаю, товарищ командир.

КОМАНДИР. Тебя просят в четвертую батарею. У нас есть свежая газета... Прочти им слова товарища Ленина. Они ждут...

КОТЯ. Хорошо (разворачивает газету. Говорит, обращаясь в зал). В сегодняшней газете, товарищи, Ленин обращается к вам. (Читает).

«Войска Юденича разбиты и отступают. Товарищи рабочие, товарищи красноармейцы! Напрягите все силы! Во что бы то ни стало преследуйте отступающие войска, бейте их, не давая им ни часа, ни минуты отдыха. Теперь мы можем и должны ударить как можно сильнее, чтобы добить врага». (Сложил газету). А теперь я прошу вас выслушать мои стихи:

Жил Яшечкин отважный,
Товарищ боевой.
На третьей батарее
Сражался, как герой.
Ему осколок вражий
В голову попал,
И Яшечкин отважный,
Как скошенный, упал.
Его забинтовали,
Сказали: «Полежи,
А мы пойдем скорее
На наши рубежи!»
Гремела канонада,
А Яшечкин лежал...

Дальше я не успел написать...

ЗАНАВЕС.

Действие второе

Сквозь тонкую материю задника проступили очертания Петрограда. На сцену выходят пятеро ведущих. Среди них Котя. Задумавшись о чем-то, он садится на корточки и глядит в пол. Ведущие присаживаются рядом с ним.

ПЕРВЫЙ. Ты грустишь, Котя. (Котя покачал головой.)

ВТОРОЙ. Героический театр получил приказ вернуться в Петроград, и тебе стало грустно.

КОТЯ (так же глядя в пол). Нет, не от этого.

ТРЕТИЙ. Ну, как же! Два года назад ты ехал на войну на передке орудия и дымный ветер дул тебе в лицо.

ЧЕТВЕРТЫЙ. Все мальчишки завидовали тебе.

ПЯТЫЙ. Помнишь, как они бежали за батареями?

КОТЯ. Помню, только я...

ПЕРВЫЙ. Что?

КОТЯ. Я не люблю войну.

ВТОРОЙ (удивленно). Да?

ТРЕТИЙ. А говорил, что будешь военным...

ЧЕТВЕРТЫЙ. Красным авиатором.

КОТЯ (поднимаясь с корточек). Буду! Буду, чтоб защищать революцию.

(Помолчал, глядя на ведущих). А войну не люблю. Из-за Ящечкина. Если бы не было войны, он не лежал бы в лазарете с забинтованной головой.

ПЯТЫЙ. Ты так и не нашел его?

КОТЯ (покачивая головой). Нет.

Входит Анна Павловна. Близоручко сощурилась на Котю. Из кармашка белого халата достала очки. Предчувствуя серьезный разговор, ведущие разошлись по углам сцены. Очертания города погасли.

АННА ПАВЛОВНА. Никак это ты, Котя Мгебров? Мне о тебе говорили. Я несу добровольное дежурство в палате тяжелораненых. (Она сгелала жест в сторону задника, как бы говоря, что все это происходит здесь). У меня есть к тебе большая просьба. Я готовлю выступление детей в лазарете...

КОТЯ. Конечно, я согласен!

АННА ПАВЛОВНА. Как хорошо, ты меня уже понял. Я слышала, у тебя есть большой артистический опыт. Ты большая находка для меня.

КОТЯ. Значит, здесь лазарет?

АННА ПАВЛОВНА. А где их только нет сейчас! Теперь разреши узнать, что ты читаешь.

КОТЯ. Я прочитаю стихи собственного сочинения.

Анна Павловна садится поодаль. Котя читает, обращаясь в зрительный зал.

Жил Ящечкин отважный... Товарищ боевой...

Свет на сцене начинает меркнуть. За тонким задником осветилась больничная койка. На ней лежит Ящечкин. Услышав голос друга, он поднимается на локтях и долго, видимо, не веря своим глазам, смотрит на Котю. А Котя продолжает читать стихи.

ЯЩЕЧКИН. Котя...

Котя остановился. Замер. Повернулся на голос. В этот момент свет на сцене зажегся, а койка с Ящечкиным исчезла за стеной задника. Она была видна только в полной темноте. Есть такая хитрость сцены, когда



один яркий свет может перебить другой, слабый! Итак, зажегся яркий свет и осветил стоящего в углу человека в темном пальто. Котя взгляделся — это был уже знакомый нам пилот Капралов. Анна Павловна вскопила, всплеснула руками.

АННА ПАВЛОВНА. Жорж! Мальчик! Ты живой!

ПИЛОТ. Ну, конечно, живой, раз я вошел в комнату и слушаю стихи. Я не помешал?

АННА ПАВЛОВНА. Ну что ты говоришь! Это Котя, я занимаюсь с ним. Мы готовимся к выступлению...

ПИЛОТ. А мы знакомы, не правда ли?

КОТЯ. Я вас узнал.

ПИЛОТ. Здравствуй. (Пожал Коте руку).

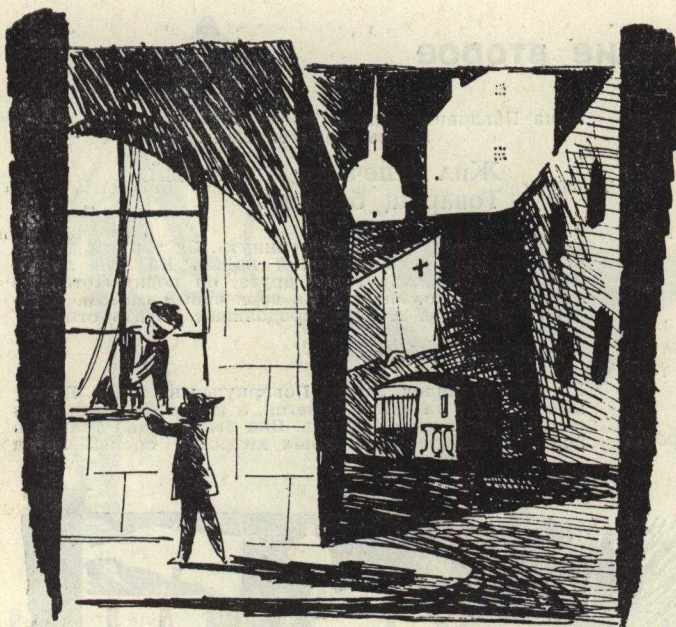
КОТЯ. Я думал, вы погибли. Ведь тогда сразу начался бой. Я видел, как загорелся ваш аэроплан.

АННА ПАВЛОВНА. Боже!

КОТЯ. В этом бою ранили Ящечкина.

ПИЛОТ. Про которого ты читал сейчас стихи?

¹ Это делают так: материю для задника надо выбирать обязательно просвечивающую (например, тарную ткань) и натянуть ее на рамку, сколоченную из реек. Подобно обычной домашней занавеске на окнах, она не будет просвечивать, если ее осветить ярким светом. Но если за задником установить хотя бы один фонарь и направить его от зрителя на какой-нибудь предмет, то задник, только что смотревшийся глухой стеной, начнет просвечивать. Для этого надо, чтобы свет за задником был вдвое сильнее, чем свет на сцене.



КОТЯ. Да. А у меня и про вас есть стихи. Хотите, прочту? *(И, не дожидаясь согласия, читает).*

Смелый красный авиатор
В бой ведет аэроплан.
В этот бой его послали
Пролетарии всех стран.
На его аэроплане
Звезды красные горят.
Белым толстым генералам
Не отдаст он Петроград...

АННА ПАВЛОВНА *(прервала Котю)*. Постой... Откуда у тебя такая недетская ненависть к белым?

КОТЯ. А как же иначе? Они ранили моего друга. Они... подожгли самолет...

ПИЛОТ. Я сам подожгу самолет. Чтобы он не достался врагу. И мне нравится твоё стихотворение. «Смелый красный авиатор в бой ведет аэроплан»...

КОТЯ *(радостно подмигнув)*. «В этот бой его послали пролетарии всех стран»...

АННА ПАВЛОВНА *(пилоту)*. Пойдем, отдохнешь с дороги. *(Коте.)* А ты займись декламацией.

ПИЛОТ. До свидания, боевой друг.

Пилот еще раз пожал руку Коте и ушел вместе с Анной Павловной. Последние слова его были к Анне Павловне.

ПИЛОТ. Мама, я к тебе на минуту и вскоре должен буду уйти.

АННА ПАВЛОВНА. Почему?

ПИЛОТ. Надо.

С этими словами они скрылись. Свет гаснет. И зажигается вновь, но уже не на сцене, а за задником. Снова осветилась койка Яшечкина. Яшечкин, глядя в свозь прозрачную стену задника на сцену, натягивает сапоги. Он уже одет. Подтянул ремень. Вглядывается в темноту сцены.

ЯШЕЧКИН. Котя!.. Или мне показалось?

ПЕРВЫЙ ВЕДУЩИЙ *(выйдя из темноты)*. Нет, не показалось.

ЯШЕЧКИН. Что же он не приходит ко мне?

Все ведущие вышли из темноты и встали на краю сцены.

ВТОРОЙ. Он сейчас придет.

ТРЕТИЙ. Он здесь.

ЧЕТВЕРТЫЙ. Вот он.

Появляется Котя.

ПЯТЫЙ Котя! Ты сейчас идешь от Анны Павловны мимо лазарета?

КОТЯ. Да, а что?

ПЯТЫЙ. Не иди так быстро. И когда будешь проходить мимо окон, обязательно загляни в окно.

КОТЯ. В какое?

ТРЕТИЙ. Вот в это. *(Показывает на стенку задника).*

Котя повернулся и увидел Яшечкина. Сквозь стенку задника они говорят, как через оконное стекло.

КОТЯ. Яшечкин! *(Яшечкин хотел что-то ответить и не смог)*. Как ваше здоровье?

ЯШЕЧКИН. Выписываюсь.

КОТЯ. Вы похудели.

ЯШЕЧКИН. Ничего. Жирок — дело наживное, это все неважно. Вот демобилизовали вчистую. Я уж и так и сяк. У меня же в полку обязанности, говорю, там же орудие!

КОТЯ. Куда же вы теперь пойдете?

ЯШЕЧКИН. К брату поеду. Маманя у меня умерла, а брат остался. Надо как-то устраиваться в мирной жизни, на гражданке. Вот... Я теперь, как наше орудие, снятое с крюка... Отстрелянная гильза.

КОТЯ. Ничего, Яшечкин. Все будет хорошо. Юденича разбили...

ЯШЕЧКИН. Да. А меня там не было.

КОТЯ. Главное — мы встретились.

ЯШЕЧКИН. Это главное. Конечно... Я до службы столаром был. Мне по столарному делу надо подаваться.

КОТЯ. Я узнаю у папы. Может быть, театру потребуется столар.

ЯШЕЧКИН. Котя! Ты погоди, не уходи. Я попрошу, может, меня выпустят к тебе. Я же здоровый почти.

КОТЯ. Хорошо. У меня сегодня репетиция в семь часов. Пойдемте вместе.

ЯШЕЧКИН. Неловко как-то.

КОТЯ. Очень даже ловко. В театре большой темный зал. Вы сядете в уголок. Никто не увидит. Идет?

ЯШЕЧКИН. Идет!

КОТЯ. Выходите. Я здесь.

Свет за задником гаснет. Яшечкина не стало, он будто бы растворился. На сцену входят пилот и Анна Павловна.

АННА ПАВЛОВНА. Позволь, я немного тебя провожу.

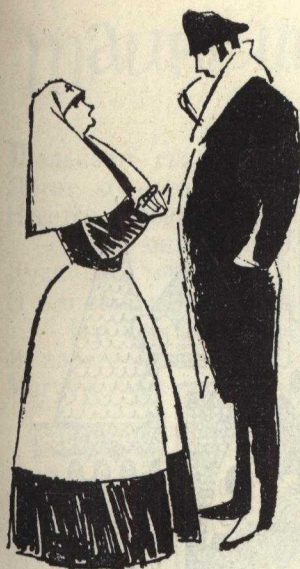
ПИЛОТ *(остановился)*. Не надо. Нельзя.

АННА ПАВЛОВНА. Я так долго тебя ждала! Сколько лет! А ты... пришел на несколько минут, согреться не успел. И уходишь... опять.

ПИЛОТ. Война не кончилась, мама.

АННА ПАВЛОВНА. Не уходи.

ПИЛОТ. Мне опасно здесь быть. К тебе могут прийти. Я пробирался с фронта через три кордона, а у тебя здесь под боком красный мальчишка, из-за которого я чуть-чуть было не попал под расстрел.



АННА ПАВЛОВНА.

Когда?

ПИЛОТ. Когда летел с пакетом к Юденичу.

Пилот и Анна Павловна отходят к краю сцены и тихо продолжают разговор. Видимо, пилот объясняет ей, почему он не может остаться. К притаившемуся у стены Коте подходят ведущие.

ПЕРВЫЙ (Коте). Ты слышал?

КОТЯ (глядя на пилота). Да.

ВТОРОЙ. Ты понял все?

КОТЯ. Понял.

ТРЕТИЙ. Это не красивый авиатор.

КОТЯ (закрыв лицо руками). Да.

ЧЕТВЕРТЫЙ. Это враг.

ПЯТЫЙ. Что ты будешь делать?

КОТЯ (убирает с лица руки, обводит ведущих серьезным, недетским взглядом). Я знаю.

В это время пилот убедил Анну Павловну, что надо оставить его одного.

ПИЛОТ. Прощай, мама!

АННА ПАВЛОВНА. Какой ужас!

ПИЛОТ. Никакого ужаса нет. Идет бой. И никакого ужаса. (Достает из кармана револьвер, осматривает его). Надо всегда проверять оружие. А то однажды оно меня подвело. Патроны есть? Есть. Теперь я спокоен.

ПЕРВЫЙ. У него револьвер!

ВТОРОЙ. Он заряжен.

ПИЛОТ. До свидания, мама. (Анна Павловна уходит).

ТРЕТИЙ. Что ты хочешь делать?

КОТЯ. Ничего... Сейчас придет Ящечкин...

ЧЕТВЕРТЫЙ. А если Ящечкина не отпустят?

КОТЯ. Все равно я знаю, что делать.

ПЯТЫЙ. Мы поможем тебе.

ПЕРВЫЙ. Мы, ученики советской школы...

ВТОРОЙ. Мы узнали о тебе, прочитав надпись на Марсовом поле в Ленинграде...

ТРЕТИЙ. Если нас не хватит, стоит мне свистнуть — и прибегут сотни наших советских мальчишек.

КОТЯ. Нет!

ЧЕТВЕРТЫЙ. Мы поможем тебе!

КОТЯ. Нет!

ПЯТЫЙ. Почему?

КОТЯ. Потому что... вас... тогда... рядом со мной... не было... Я... был... один.

Ведущие остаются в застывших позах. Все это время пилот был занят тем, что надвигал шапку поглубже себе на уши, обматывал себя шарфом поверх поднятого воротника. Вот он осторожно повернулся...

Котя смело вышел ему навстречу.

ПИЛОТ. А-а... Здравствуй еще раз... фронтовой друг. Стихи сочиняешь?

КОТЯ. Нет, не сочиняю.

ПИЛОТ. А я думал... Поэты любят так... одиноко стоять на улице...

КОТЯ. Нет, я не сочиняю. Некогда.

ПИЛОТ. Спешешь? Я тоже спешу. А насчет стихов ты прав: не мужское это дело... (Хотел идти, но Котя загорючил ему дорогу).

КОТЯ. А вы больше не летаете?

ПИЛОТ. Временно не летаю. (Отступил от Коти, странно всматриваясь).

КОТЯ. А я обязательно стану летчиком. Несмотря ни на что. Все равно стану!

ПИЛОТ (насторожился). Почему «несмотря ни на что»? Разве кто-то тебе мешает мечтать? (Котя не ответил). Ну, прощай. Я прогуляюсь.

КОТЯ. И я прогуляюсь. С вами.

ПИЛОТ. Но ты, я слышал, спешишь.

КОТЯ. Так и вы спешите. Я слышал.

ПИЛОТ. Шел бы ты домой. Что ты хочешь от меня? (Сделал шаг в сторону, но Котя снова встал перед ним).

КОТЯ. Вы предатель.

ПИЛОТ (замер, выждал паузу. Сказал твердо, чекая каждое слово). Уйди с моего пути.

КОТЯ. Стойте! Сейчас придет Ящечкин...

ПИЛОТ. Уйди!

Он схватил мальчика за плечи и с силой бросил на землю. Раздался выстрел. В следующий момент пилота на сцене уже не было. Котя попытался встать, но это у него не получилось. Голова ударилась затылком об пол. Руки, обессилев, раскинулись в стороны. Встрепанные ведущие обступили умирающего мальчика. Вместе с ними на сцену выбежал горнист. Он играет тревогу. По сигналу тревоги выбегают командир и красноармеец.

Не понимая, что произошло, на сцену входит Ящечкин. Он ищет Котю. Все расступаются перед ним. Ящечкин склоняется над Котей. Поднимает его голову, смотрит в глаза. Глаза Коти открылись. Он увидел Ящечкина и попробовал ему улыбнуться.

КОТЯ. Вот мы и встретились.

Так сказал Котя. Сказал так, будто ничего не произошло. Будто ему только нездоровится. Однако в следующий момент его не стало. Командир и красноармеец сняли свои буденовки. Все опустили головы. И тогда рядом с убитым Котей, будто самовозгораясь, зажегся вечный огонь, а на матерчатой стене задника проступили светящиеся буквы:

«ЮНОМУ АРТИСТУ-АГИТАТОРУ КОТЕ МГЕБРОВУ—ЧЕКАН. 1913—1922».



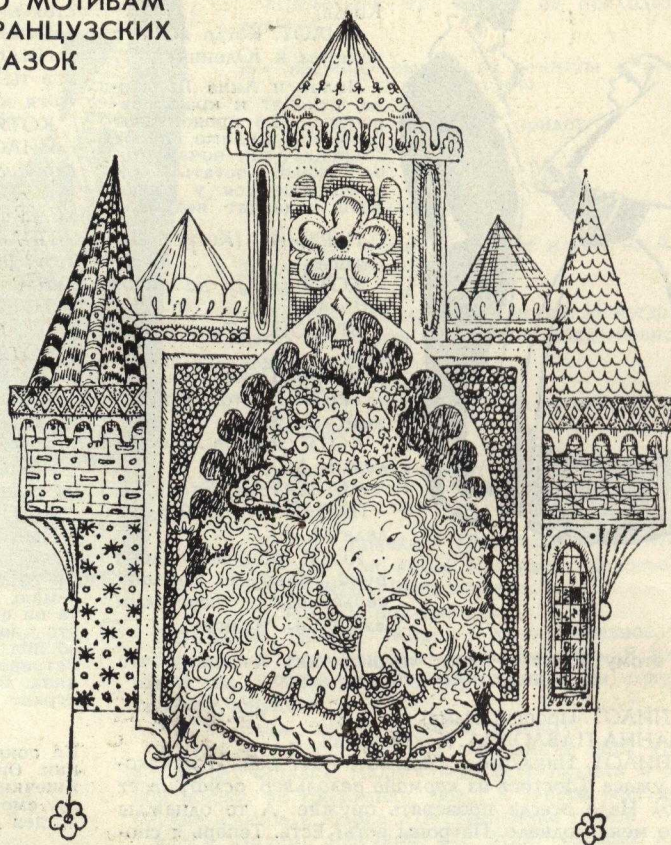
ЗАНАВЕС.

Заботы солнца

Ту-ру, ру-ру,
Ту-ру, ру-ру.
Проснулось солнце поутру
И вышло на прогулку —
Трюх-трюх по переулку.
Оно скользило мимо стен,
Оно всю светило,
Чтобы принцесса

Тронколен —
Да, да, принцесса
Тронколен —

Светило
Не затмила.
Она жила невдалеке,
В воздушном замке на реке.



Жак- силач

Жак не любил ни ссор,
ни драк,
Любил работать в поле
Жак.
Запряг он как-то лошадь
в плуг,
Вспахать решил землю,
Но запрягился битюг,
Ни тпру, ни ну — стоит
битюг,
Не хочет шевелиться.
— Ах, так? —
Сказал сердито Жак. —
Не справлюсь сам я, что ли!
И кнутовищем тут же Жак
Перепахал все поле.
Жак не любил ни ссор,
ни драк,

Таинственная Карета

Мелькают спицы,
Летит колесница,
Несется четверка коней.

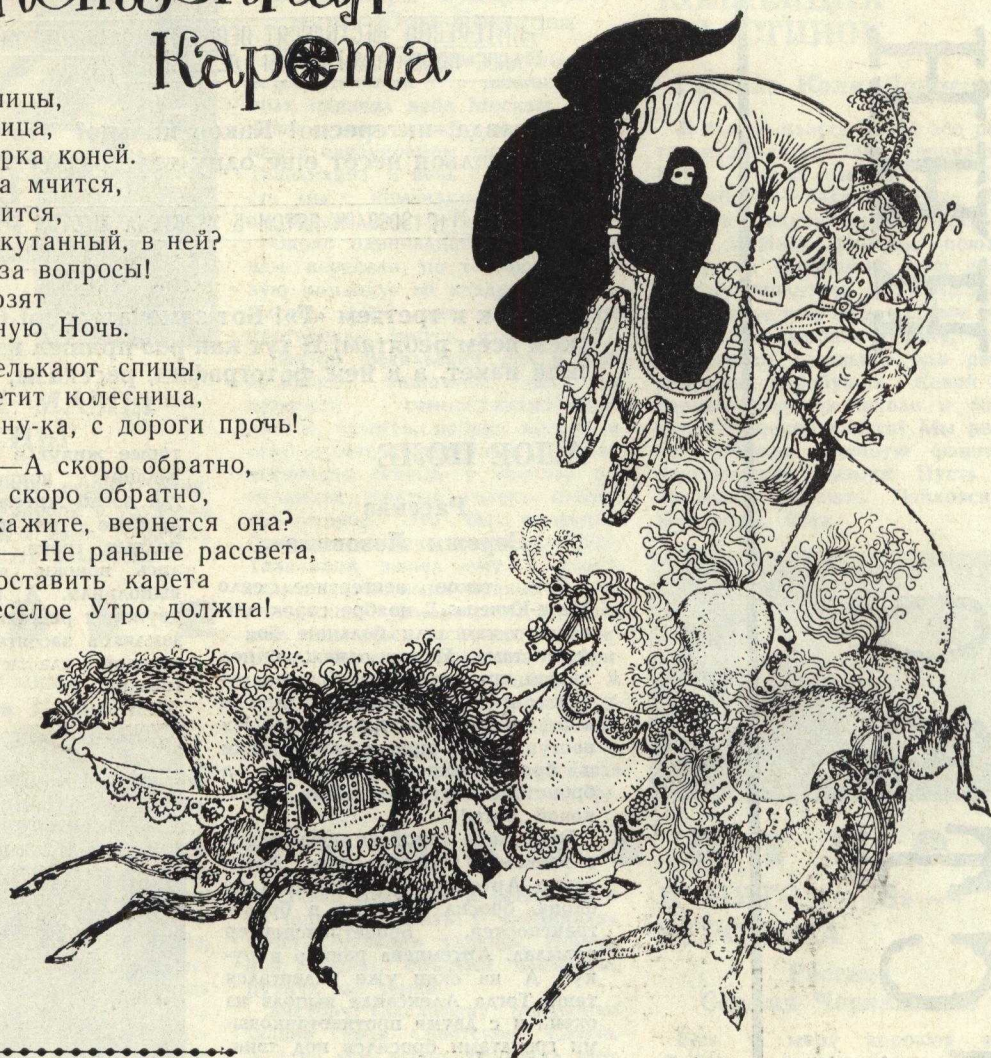
— Куда она мчится,
Куда она мчится,
И кто там, закутанный, в ней?

— Ну, что за вопросы!
В карете увозят
Могучую черную Ночь.

Мелькают спицы,
Летит колесница,
А ну-ка, с дороги прочь!

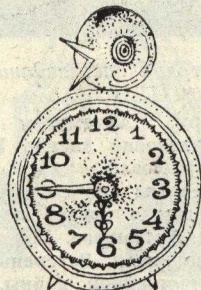
— А скоро обратно,
А скоро обратно,
Скажите, вернется она?

— Не раньше рассвета,
Доставить карета
Веселое Утро должна!



Но был могуч и славен Жак!
Пошел он в армию служить.
Послали Жака сторожить
Единственную пушку,
А он ее под мышку взял
И утащил на сеновал,
Как детскую игрушку.
Он положил ее под бок,
Чтобы украсть никто не мог,
И захрапел, как только лег,
И так храпел при этом,
Что струсил старый генерал
И отступить команду дал
Тихонько до рассвета.
Жак не любил ни ссор,
ни драк,
Но был могуч и славен
Жак!

Утро Всегда начинается с птиц



Утро всегда начинается с птиц —
С пения зяблика, свиста синиц.
С треска будильника. Боя часов.
С топота,

хохота

и голосов.

Утро грохочет, шепчет и свищет —
Слышу я шумики,

шумы,

шумиши...

Вечером в доме у нас ти-ши-на,
Но и она почему-то слышна.

Наш корреспондент отправился в Одессу.
Агентство ННН получило от него телеграмму:

«ИНТЕРЕСНО ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОЙ ШКОЛА ЗЕЛЕНОМ КОЛЬЦЕ
АЛОЕ ПОЛЕ ПАПЫ МАМЫ ЛЕТОПИСЦЫ»

И правда, интересно! Какое кольцо? Что за алое поле?
А почтальон несет еще одну телеграмму:

«ТРЕТЬЕМ Г ЗООПАРК ПЯТОМ Б ИГРОТЕКА ШЕСТОМ Б КОЛЛЕКЦИЯ
ПЛАСТИНОК =»

Зоопарк в третьем «Г»! Вот замечательно! Скорее расска-
жем всем ребятам! И тут как раз пришел из Одессы боль-
шой пакет, а в нем фотографии, рассказы, альбомы...

АЛОЕ ПОЛЕ

Рассказ

Сереежи Лозовика

Есть такое венгерское село Мате-Кучера. В ноябре сорок чет-
вертого там шли большие бои с
фашистами. И вот однажды, под
самый праздник, 6 ноября, на ру-
беж 5-й стрелковой роты пошли
в атаку две роты гитлеровцев. Их
наступление прикрывали танки
и бронетранспортеры. Танки и
бронетранспортеры против стрел-
ковой роты!

Гвардейцы героически сражались
с танками. Один из них, Алек-
сандр Артемцев, высунувшись из
окопа, бросил гранату в броне-
транспорт. Бронетранспортер
запылал. Артемцева ранило в ру-
ку. А на окоп уже надвигался
танк. Тогда Александр выполз из
окопа и с двумя противотанковы-
ми гранатами бросился под танк.



Совет отряда дает задание.

Александр Артемцеву по-
смертно присвоено звание Героя
Советского Союза.

Год назад мы не смогли бы
рассказать вам о нашем земляке
Александре Артемцеве. Мы ниче-
го о нем не знали. Ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, ко-

торые живут в Одессе, дали нам
задание: попросили уточнить,
где погиб Артемцев, узнать попо-
дробнее о его подвиге, разыскать
родных героя. Трудными оказа-
лись поиски, но поручение мы
выполнили. А потом на совете
дружины решили: в честь героев-
земляков засеять к 50-летию Со-
ветской власти поле красных
гвоздик.

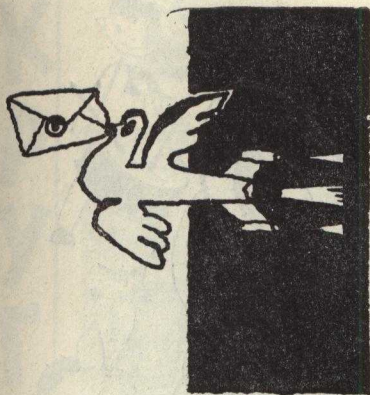


ШКОЛА В ЗЕЛЕНОМ КОЛЬЦЕ

Рассказ

Наташи Черкизовой

На этой фотографии вы видите
Витю Казакова и Колю Павлов-
ского. Они из нашего шесто-
го «А». Но аллею «50 лет Октяб-
ря» сажали все мальчики и де-
вочки, комсомольцы и пионеры.
Мы вырастим эти деревья в па-
мять о Великой Октябрьской ре-
волюции, в благодарность Родине.



ПАПЫ И МАМЫ — ЛЕТОПИСЦЫ

Совет дружины решил: напишем летопись «Боевой и трудовой путь наших пап и мам». И начали ребята записывать рассказы.

Н О В О Е

Рассказ
Владимира Ивановича,
папы Славы Даниша

В пятьдесят первом году партия позвала всех коммунистов и комсомольцев на строительство Волго-Донского канала. Я поехал. Мы строили самый большой в нашей стране судоходный канал. Он соединил реки Волгу и Дон.

Уровень воды в Волге выше, чем в Доне. Так пароходам неудобно ходить. И нам пришлось построить тринадцать шлюзов. Шлюзы, как широкая пологая лестница, делают путь пароходов удобным. Когда правительственная комиссия приехала принимать канал, наш шлюз похвалили.

Рассказ
Владимира Федоровича,
папы Юры Цветкова

В первые месяцы войны наш истребительный авиационный полк охранял небо Москвы. Я начинал свою службу авиамехаником в авиационном звене Виктора Талалихина. В ночь с 6 на 7 августа мы с командиром заступили на боевое дежурство.

Около одиннадцати часов ночи нам передали по телефону боевую команду: «В квадрате 82, на высоте 4 000 метров, самолеты противника Запуск, взлет!»

Виктор Васильевич сел в наш маленький «ишачок», так мы называли самолет-истребитель «И-16», взлетел, набрал высоту и стал искать противника. Прошло несколько секунд, в темноте замелькали желтые язычки пламени моторов. Это был немецкий бомбардировщик «хейнкель-111», Талаалихин зашел ему в хвост, атаковал. Задымил правый мотор «хейнкеля». Фашистский самолет стал снижаться, искусно маневрируя. У Виктора кончились боеприпасы, и пулеметы замолкли. А враг продолжал стрелять из крупнокалиберного пулемета. Виктора ранило в правую руку.

Потом, после боя, он рассказал нам, как он разозлился на фа-

В ШЕСТОМ «Б» — КОЛЛЕКЦИЯ ПЛАСТИНОК

Рассказ Коли Донченко

В нашем классе почти все ребята — музыканты. Таня Гавриляк и Витя Мороз — пианисты, Коля Поддубный — баянист, Вова Елистратов — аккордеонист, близнецы Вера и Надя Орловы поют, я играю на скрипке. А наш классный руководитель Людмила Ильинична окончила музыкальное училище. Мы любим музыку, часто устраиваем «огоньки» для ребят, для мам и бабушек. Какой нам сделать подарок школе к 50-летию Советской власти? Мы решили: соберем хорошую фонотеку классической музыки. Пусть все приходит слушать Чайковского, Бетховена, Баха.



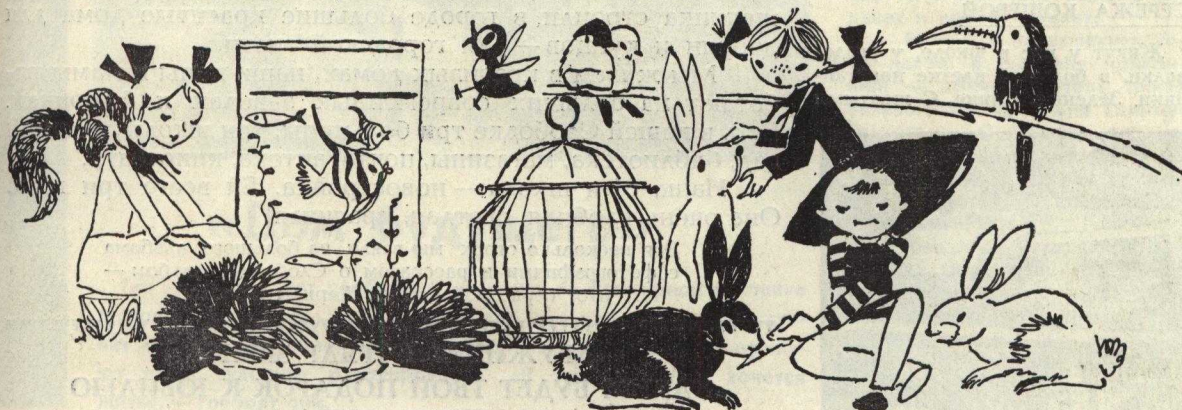
Н Е И З В Е С Т Н О Е

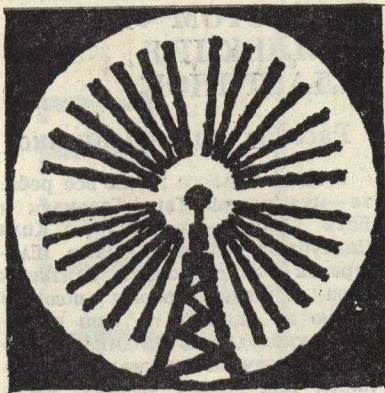
В ПЯТОМ «Б» — ИГРОТЕКА

Рассказ
Сергея Черкащенко

Есть у меня хорошая игра «Рыбак и рыбки», а у Жени

Н У Ж Н О Е





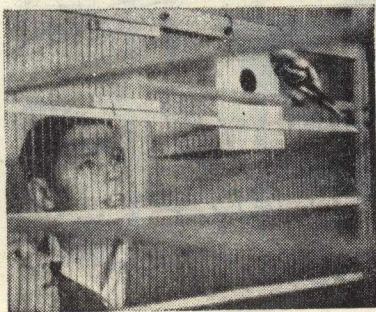
Козлова — настоящий футбол. Мы выросли, а игры для малышей остались. И мы подумали: возьмем старые игры, подклеим их, отремонтируем, и получится у нас игротека для группы продленного дня. Скоро все будет готово.



ЗООПАРК В ТРЕТЬЕМ «Г»

Рассказывают:
СЕРЕЖА КОШЕВОЙ

Живут у нас в школе, у раздевалки, в большой клетке попугайчики. Зеленые. Синие. С желтыми



грудками. И все люди приходят к нам — в гости и любят.

Все отряды, делают что-нибудь хорошее, полезное к празднику Октября. Нам захотелось создать живой уголок.

ГАЛЯ ПОТАПЧУК

Я отдам в живой уголок своих кроликов. У меня их два, беленький и черненький. Я кормила их капустой и морковкой. Морковка для кроликов — как мороженое. Кролики всегда знают, что я иду их кормить. Они начинают прыгать, бьют лапками о клетку.

АНЯ АБАКУМОВА

А у нас с Колей дома большой аквариум. Мы давно наблюдаем за рыбками. Самые драчливые рыбки — «петухи». Их нельзя поселять рядом с соседями, они на них нападают и клюют в глаза. Может быть, они думают, что это их корм? А вот если вы спросите, какого цвета «петухи», я не знаю, что сказать. То они белые, то синие, то красные..

КОЛЯ АБАКУМОВ

Наш ежик любит лизать папины сапоги. Знаете, почему? Папа мазал сапоги рыбьим жиром. Ежик может съесть сколько хочешь, даже больше, чем сам весит. Может сразу целый стакан молока выпить. Без ежика в живом уголке неинтересно.

СЕРЕЖА КОШЕВОЙ

Наверное, у нас получится не живой уголок, а зоопарк. Зоопарк интереснее!



...До революции наша Слободка была бедной и грязной окраиной Одессы.

...Во времена Екатерины II поселились здесь беглые солдаты. Жили они, а потом их дети и внуки, в убогих лачугах, в неказистых мазанках. Работали с утра до ночи в каменоломнях, добывали ракушечник. Из этого ракушечника строили в городе большие красивые дома для дворян и купцов — для городской знати.

Мы живем в красивых домах, наши папы и мамы работают на больших современных заводах и фабриках. Есть в нашей Слободке три больницы, три школы, детский сад, библиотека, магазины, почта, аптека, кинотеатр.

Наша 61-я школа — новостройка. Ей всего три года. Она очень удобная, светлая, красивая!

Эти несколько строк мы взяли из большого альбома с фотографиями и рассказом о Слободке. Альбом — итог серьезной работы Ларисы Орловой.

ДРУЖИНА! ОТРЯД! ЗВЕНО!
КАКИМ БУДЕТ ТВОЙ ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ
ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ?!



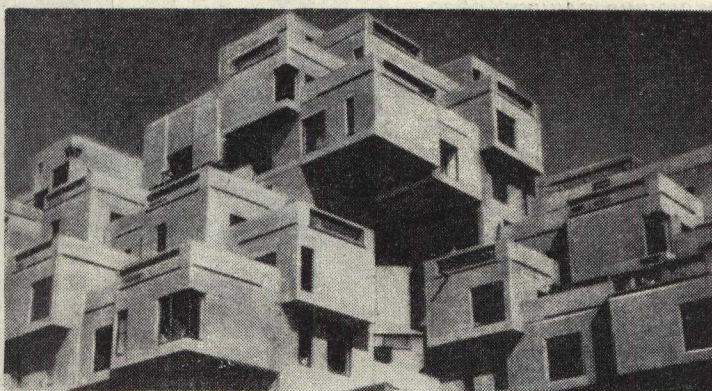
СОБАКИ ПРОТИВ ПАРТИЗАН

Эти откормленные овчарки, так же как их поводыри, служат в американской армии. В Техасе они проходят специальную дрессировку. Потом собак отправляют в Южный Вьетнам, на войну с партизанами.



Вокруг всей земли

Думаете, это детский автомобильчик! Ошибаетесь! У него есть мотор в пять лошадиных сил, и скорость он развивает по своему росту немалую: шестнадцать километров в час. Конструктор микроавтомобиля англичанин Джим Паркинсон объехал на нем вокруг всего земного шара, набрав на спидометре двадцать три тысячи километров. За все путешествие Паркинсону ни разу не понадобился гараж.



«Дом будущего»

Так называют этот необычный экспонат на Всемирной выставке в Монреале. Авторы проекта обещали, что «дом будущего» станет «главной сенсацией выставки». Однако посетители осматривают его с чувством разочарования. «В этом доме не хочется жить», — говорят они.

«БУДЬ Я ФЮРЕРОМ...»

Однажды на школьной прогулке учитель Отто Вернер накинулся на ребят с кулаками. Он так избил Гельмута Фогеля, что тот не мог подняться. Все тело мальчика было в синяках и кровоподтеках.

— Если б я не вывихнул себе палец, я бы тебя прикончил! — кричал учитель, пиная валявшегося на земле Гельмута ногами. Остальным он заявил: — Раньше таких, как вы, душили в концлагерях газами. Будь я фюрером, всех бы вас расстрелял!

О том, что Отто Вернер — бывший гитлеровец, в городке Эттингере знает каждый. И все-таки родители посылают к нему детей. Ведь школьные власти Западной Германии одобряют таких «воспитателей».

В ГОД ПЯТИДЕСЯТЫЙ, ЮБИЛЕЙНЫЙ

Летом юбилейного года на аэродроме Домодедово под Москвой состоялся авиационный парад — незабываемое, волнующее зрелище. Взгляните на эти снимки — они сделаны на параде.



Сверхзвуковые самолеты-ракетносоцы.

Наши крылья

Фото Б. ВДОВЕНКО и Ю. КОРОЛЕВА.

С каждым годом все более могучими и прекрасными становятся наши самолеты. Им теперь все подвластно: высота, расстояние, скорости. Вслушайтесь, как звучат их удивительные названия: сверхзвуковые, всепогодные, многоцелевые, сверхдальние, ракетноносные... Как сверкающие клинки, обгоняя звук, пронизывают они небо, вызывая у нас гордость и восхищение. Хотите почувствовать себя участниками полета на этих современных машинах? Слово журналисту и военному штурману Олегу Александровичу Назарову.

НАД МОРЯМИ И ОКЕАНАМИ

С экипажем этой удивительной машины я встретился на КП аэродрома. У всех сосредоточенные лица: идет предполетная подготовка.

Итак, я лечу! Впервые иду в учебный многочасовой полет на прекрасной боевой машине — сверхдальнем стратегическом межконтинентальном ракетносоце!

Но вот предполетная подготовка закончена, и мы все вместе, одетые в летное снаряжение, идем к самолету. Занимаю и я свое ме-

сто. Усаживаюсь на парашют, подсоединяю свой шлемофон к переговорному устройству, а маску к шлангу, по которому идет кислород. Пойдем на больших высотах, за бортом будет разреженный воздух, и, если вдруг по какой-то неожиданной причине нарушится герметизация кабины, кислородные маски обеспечат нам нормальное дыхание.

До взлета осталось двадцать минут... пятнадцать... десять... пять... Взлет!



Герой Советского Союза Валентин Мухин пилотировал на параде самолет вертикального взлета и посадки.

— Сто пятьдесят, двигатели работают нормально.

Это бортинженер докладывает скорость.

— Двести... двигатели нормально.

Набираем высоту. Четыре, пять тысяч метров.

Штурман Александр Казаков объясняет мне работу приборов.

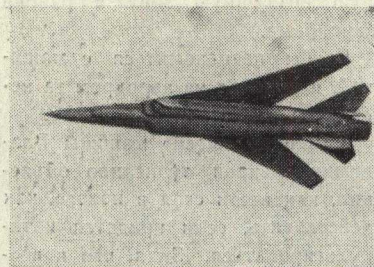
О многих из них я не имею понятия, их не было на самолете, когда сам я летал штурманом. С тех пор прошло немного лет, а как изменилась авиация! Нашим самолетам сейчас не страшны любые расстояния, им не нужны базы для заправки в пути. Как и подводные лодки, они давно уже оторвались от родных берегов и вышли на просторы нейтральных вод.

А какому самолету раньше было по силам совершить такой многочасовой полет, как наш, — прео-



Самолет вертикального взлета поднимается в воздух без разбега, прямо с места.

долететь огромные расстояния, пролететь над океанами и континентами? Лететь нам придется в труднейших условиях, нередко вслепую, только по приборам, преодолевая обледенение, болтанку,



Многоцелевой истребитель с изменяющейся в полете стреловидностью крыла. На верхнем снимке — самолет идет на большой скорости, крылья подтянуты к хвостовому оперению. Внизу — так выпрямляются крылья, когда скорость невелика и когда машина идет на взлет и посадку.

бешено мчащиеся струйные течения.

И с каждым часом такого полета у людей растет усталость, но поддаваться ей нельзя...

Скорость полета поразительная, штурман не успевает называть мне крупные города, которые ос-

таются позади. Вдруг скорость резко увеличилась — самолет попал в попутное струйное течение.

В положенное время решили перекусить. Бортпакет — баночка мясных консервов, виноградный сок, вафли, сахар, шоколад, галеты.

Все дальше и дальше удаляемся мы от нашего аэродрома, но расстояние совсем не чувствуется: все время поддерживаем связь с КП. Сейчас наш курс — на Северный полюс.

.. Во всех направлениях, днем и ночью, на разных высотах, с разными скоростями летят самолеты над нашей Родиной. И за каждым ведут наблюдение с земли те, кто всегда готов прийти на помощь.

— Цель. Дальность — триста тридцать прямо по курсу, — докладывает штурман Семчук.

— Вижу.

Прямо по курсу подводная лодка. Снижаемся, хорошо вижу ее длинное черное тело. Лодка быстро уходит вглубь, но мы еще долго видим ее под водой.

— Справа самолет. Высота — десять тысяч.

— Вижу, пассажирский, идет по трассе...

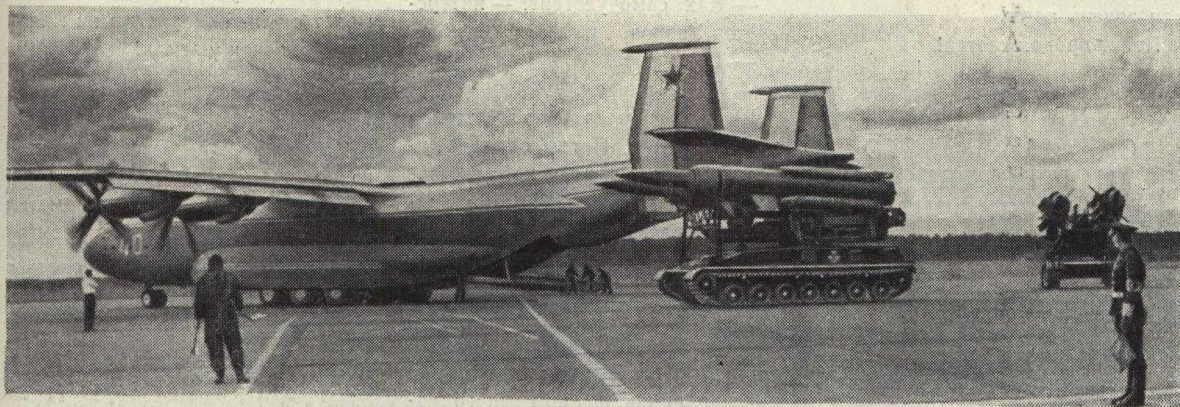
— Какое море проходим?

— Морями не занимаемся, океаны считаем.

— Штурман, курс!

— Есть, командир!

В таком дальнем полете особенно остро ощущаешь силу нашей



Десантный самолет «АН-22» — самый большой в мире — высаживает самоходные ракетные установки.

науки, нашей технической мысли. С уважением наблюдаю работу мощных реактивных двигателей, радиолокационных и электронных приборов, систем-автоматов, которые прокладывают путь кораблю. Они помогут нам с абсолютной точностью выйти в любую точку маршрута. Помогут отыскать любую цель: воздушную, наземную или морскую. А выполнение боевой задачи надежно гарантировано-вооружением самолета.

Давно уже летим над океаном, прошли несколько морей. А до конца маршрута еще далеко.

— Цель! — негромко говорит штурман.

Я инстинктивно повернул голову к иллюминатору и увидел улыбки на лицах: несмотря на огромную скорость полета, пройдет немало времени, пока обнаруженный приборами корабль, «цель», окажется в пределах видимости.

Наш штурман, Даниил Семчук, — виртуоз своего дела. По засветкам на экране локатора и другим данным он определяет расстояние до корабля и за многие десятки и даже сотни километров размеры его. Оказывается, это караван рыболовецких судов.

Кораблей все больше, самых разных. Под нами — океан. Не верится, что совсем недавно наш самолет летел над сплошными льдами, перерезанными трещинами, похожими на громадные реки. У самого полюса одна трещина была шириной, наверное, с Волгу! А сейчас под нами ровная бескрайняя зелень воды.

Полет продолжается!

НА БОРТУ СВЕРХЗВУКОВОГО ИСТРЕБИТЕЛЯ- РАКЕТОНОСЦА

Наконец-то я получил разрешение вылететь в зону высшего пилотажа. Чтобы самолет на большой скорости выполнил петлю Нестерова, бочки и перевороты, нужно значительное пространство, и поэтому для них отводят специаль-

ную воздушную зону в районе аэродрома.

Чтобы познакомиться с машиной, я приехал на аэродром за несколько дней до полета.

Командир «моей» машины Владимир Уваров терпеливо объяснил, как вести себя в полете, как действовать, если придется катапультироваться. Зная, что в воздухе учиться будет поздно, я внимательнейшим образом слушал его и старался все делать без ошибок.

Наконец, день полетов. Вернее, не день, а ночь: полеты начнутся вечером и будут продолжаться ночью. Полетим на двухместном сверхзвуковом истребителе — «спарке».

Уваров заставил меня после обеда лечь спать: «Так положено!» Выезд на аэродром в шестнадцать ноль-ноль...

И вот мы на аэродроме. Последние напутствия, врачебный контроль, подгонка снаряжения. Потом Уваров опять проверяет меня в кабине самолета. Отвечаю без запинки. Он доволен. Закрываю фонарь. Кислород поступает, прекрасно слышу голос руководителя полетов и Уварова: связь работает.

Команда — и наш самолет плавно трогается с места.

Рулежка, пробег, стремительный рывок. Земля ринулась назад и вниз, меня прижало к сиденью, руки и ноги стали тяжелыми, неуклюжими: набираем высоту. Потом пошли в зону.

— Как самочувствие? — интересуется Уваров.

— Отличное.

— Тогда начнем.

Вижу... Земля слева, словно стоит на боку. Потом самолет выравнивается и идет в набор высоты. Облака ровным маревом виднеются далеко внизу. Небо потемнело, стало густо-синим. Сказывается высота. Менее послушным стал самолет, растянутым, замедленным каждый разворот. Смотрю на высотомер и не верю: это, конечно, не космос, но немного людей побывало на такой высоте!

— Приступаем к пилотажу, — говорит Уваров.

Как громадный стриж, носится наша машина: переворачивается, мгновенно набирает высоту и снова устремляется к земле. Разворот, переворот, бочка... Вдалеке видно облако. Рывок — и плотные серые струи обтекают самолет, как будто оmyвает его мутная вода. А через несколько секунд снова солнце, облако осталось позади.

Маневр самолета-истребителя... Еще не так давно было много споров об этом. Некоторые доказывали, что на современных больших скоростях маневрировать в бою не придется. Особенно, если противник пустит в ход управляемые ракеты, от них маневр не очень-то поможет уйти. Но жизнь показала, что незачем отказываться от маневра, что победит в воздушном бою тот, кто применит его искуснее...

* Прекрасный самолет! Не боится перегрузок, делает самые сложные фигуры высшего пилотажа. Машина оснащена такой аппаратурой, что даже при самой плохой погоде летчик может самостоятельно найти и поразить любую цель.

Полет подходит к концу. Снижаемся. У земли острее чувствуется скорость. Перед глазами мелькают разноцветные пятна, не успеваю расшифровывать их. Только потом начинаю понимать, что это был дом, сарай с пристройкой, рощица. Какое же мастерство требуется, чтобы вести самолет с такой скоростью на малой высоте, почти у земли!

— Впереди аэродром, — говорит Уваров.

Я напрасно всматриваюсь: ничего похожего не вижу. Только перед самой посадкой я заметил взлетно-посадочную полосу.

После полета душ — и опять в «высотный» домик; туда собираются вернувшиеся и те, кого ждет новый полет...



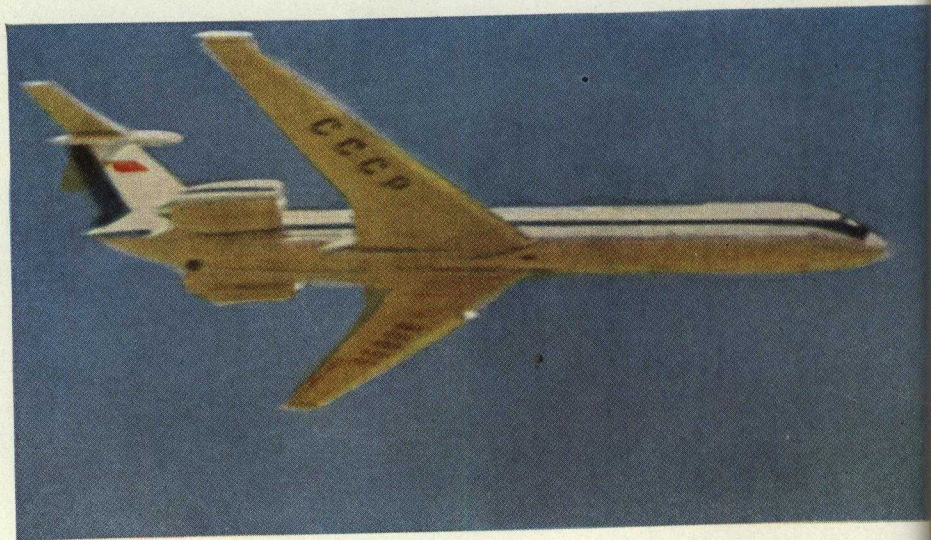
Включены стартовые реактивные ускорители... Мгновение — и сверхзвуковой истребитель уходит в небо.

Наши крылья

Новый реактивный пассажирский самолет для местных линий. Аэрофлота — «ЯК-40».

«ТУ-134» — новый реактивный лайнер. Скорость этого пассажирского самолета — до девяти сот километров в час!

Взлетает звено самолетов-амфибий.



Вертолет «МИ-6» несет тяжелую мачту высоковольтной линии.



Так на полях страны работают вертолеты «МИ-2» — работяги нашей сельскохозяйственной авиации.







С. ГАНСОВСКИЙ

Рисунки Н. СТРОГАНОВОЙ
и Ю. АЛЕКСЕЕВА.

Снизу приглушенно доносились крики и кашель слоночеров. Вернее, не совсем снизу. Просто звукоискатель-автомат, бесцельно шаривший вокруг, поймал этот шум и донес сюда, в прозрачную кабину, на стометровую высоту.

Андрей, не вставая, протянул руку, тронул рычажок под микрофоном, и звук чуть стих.

Венерианское вечерающее небо бескрайним куполом висело над головой. Было чуть туманно, в воздухе стояла тяжесть. Атмосфера расположилась в несколько этажей и так застыла. Казалось, эту неподвижность можно даже потрогать рукой.

Рельеф внизу выглядел, как жеваная, мятая, темная бумага. Только поверхность озера в пяти километрах от Центра отражала небо, была светлой, напоминая жид-

кий, застывший металл из домны — яркое пятно среди окаменевшей сумятицы провалов и возвышений.

Все было в порядке вокруг, и все равно ощущение тревоги не покидало Андрея. Он опять осмотрелся.

Ожидалось, правда, землетрясение, но Центр был готов к нему. Система блоков, талей, стрел, тысячетонные (и такие легкие на вид) ажурные конструкции сбалансировали бы так, чтоб оставить в неприкосновенности и научные, и жилые, и производственные блоки. Центр выдержал тут уже десятки сбросов.

Впрочем, и разрушится Центр, это не имело бы большого значения. Он был брошен, не нужен, так же как и другие центры. Люди ушли, покинули планету, и только два человека оставались пока здесь. Он сам, Андрей, и Вост (второй дежурный). Лишь они двое и погибли бы на

Венере, вспучись она землетрясениями вся сразу. Но такого-то не могло быть.

Андрей посмотрел сквозь прозрачный пол на стадо слоночеров, коричневой массой расположившееся километрах в трех от него у подножия опорных башен. Слоночеры пришли, и не было силы, способной сдвинуть их теперь с места. Будут есть ползучую траву. Будут мотать тяжелыми головами, выдирая стебли из почвы, проглатывая их вместе с землей, и уберутся на другое пастбище, лишь когда ни кустика не останется на этом. Хорошие звери, добрые, могучие, но с одним недостатком, который состоял в том, что они ничего не боялись. Любое животное на Земле можно перегнать с одной территории на другую, пугая его. Но на слоночеров это не действовало. Андрей знал, что, если он спустится сейчас вниз и войдет в стадо, крупные, сильные существа будут поглядывать на него с любопытством, некоторые подойдут, чтоб осторожно обнюхать, но ни одно не победит прочь. Можно махать руками, кричать, можно взорвать гранату перед самым носом слоночера, устроить пожар, и животное будет гореть, но шагу не сделает в сторону. Человек оказался бессильным перед этим спокойным, уверенным равнодушием. Если слоночеры приходили, они приходили, и все тут. Оставалось смотреть на это, как на солнечные пятна, которые либо есть, либо их нет... Когда-то слоночеры бегали, но с каждым годом они двигались все медленнее. Главный дежурный не застал той прежней эпохи. Он был знаком лишь с рассказами первых исследователей планеты, с описаниями могучего, прекрасного бега огромных стад. Он никогда не слышал и трубного звука, похожего на пение органа, которым вожак поднимал своих сородичей. Слоночеры делались все более вялыми, они мельчали, какие-то болезни убивали их, а топот неисчислимых стад и органное пение ушли в прошлое вместе с лесами, которые когда-то покрывали горы вокруг. Андрей вздохнул: может быть, и не тревога совсем терзает его. Просто тоска. Вот пришли слоночеры, съедят в окрестности всю траву — без остатка, невозполнимо, так, что она уже никогда не будет расти здесь. А потом потянутся дальше, оставив мертвых и больных. Побредут, чтоб в другом месте тоже вытравить пастбище и еще сократить то пространство, на котором только и могут они существовать.

Но ведь слоночеры появились вчера, и тогда это не повергло его в уныние. Наоборот, он с интересом следил, как они приближаются. Стадо выходило из-за холмов над озером. Животные появлялись по одному, двигаясь гуськом в узком порядке, как бусинки, нанизанные на объединяющую их голубоватую ниточку тени. В бинокль можно было разглядеть каждого подробно. Вожак, гордый зверь, вышел первым в долину. Он покачивался, осматриваясь, переступал с ноги на ногу в своем непробиваемом роговом панцире, сочленения которого заставляли вспомнить о средневековых рыцарских латах. Подошли другие вожаки; казалось, они совещаются. И потом все двинулись к башенным опорам Центра...

Андрей вздрогнул. Страх снова волной прокатил по груди. Что за дьявольщина?!

Он протянул руку, передвинул рычажок на панели.

— Вост...

— Что?

Ответ пришел мгновенно, будто Вост знал, что главный дежурный сейчас обратится к нему, и ждал.

— Что ты делаешь?

— Ничего... Слушаю слоночеров.

Голос был рядом, как если бы Вост сидел тут, в двух шагах от Андрея, а не в километре от него, в такой же прозрачной кабине.

— Скажи, тебе страшно?

— Да. Тебе тоже?

— Ага. Может быть, так и должно — от одиночества.

— В общем, мне тоже страшно не так, как бывает перед землетрясением. По-другому... Ну, ладно, подождем.

Андрей кивнул, хотя Вост не мог этого видеть. Передвинул рычажок в прежнее положение. Затем повернулся в кресле и включил Книгу Погибших.

То и не книга вовсе была, а магнитофонная запись. Полстолетия назад потерпела аварию экспедиция «Юпитер I». Корабль должен был сделать облет, но оказался втянутым в гигантский газовый шар планеты. С самого начала три члена команды понимали, что от рокового мгновения, когда изменилась орбита полета, им остается считанный срок. Они летели навстречу гибели, и предстояло им долго лететь. Некого было винить в случившемся, они никого не винили. Молодые, полные энергии, эти трое были обречены, человеческая помощь не могла дотянуться до

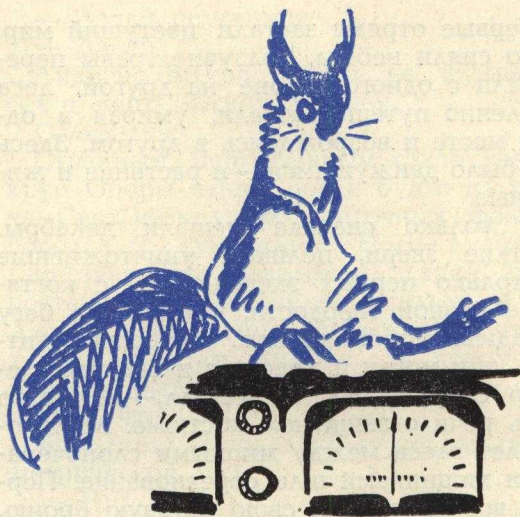
них через миллионы километров черного космического вакуума. Трое оказались один на один с равнодушным мирозданием, и эти последние недели наговаривали свои мысли на пленку, транслируя наобум. У них прервалась связь с Землей — радиационный экран Юпитера не пропускал. Они не знали, дойдет ли что-нибудь до людей. Но автоматическая станция на Ганнимеде поймала большую часть передач, и так Книга Погибших вошла в мировой фонд классики.

Спокойно понимая, что сказанное уже никак не повлияет на их собственную судьбу, трое говорили о судьбах человечества. Андрей особенно любил Третьего — члены погибшей команды не поставили имен под своими текстами, и хотя позже анализ показал, что кому именно принадлежит, записи были изданы так, как сделаны.

Чуть глуховатый голос заполнил кабину.

«...Сегодня двенадцатые сутки. Сделали расчет, и ясно, что осталось еще восемнадцать. Если, конечно, ничего не случится раньше. Каждый тут же подумал, что лучше, если б раньше и внезапно, но все промолчали. Вообще я жалею теперь о нашем решении не обсуждать проблему смерти, вовсе не упоминая о ней. Сгорая мы взяли на себя этот обет, теперь он гнетет, как всякая догма. Приходится притворяться, будто мы не думаем о гибели, хотя она неизбежна. Лицемерие утомляет, но все равно каждый поглядывает на другого, думая про себя: «Уж я-то не нарушу слова, пусть лучше он...» Так или иначе, настроение «утром» в 6.00 было неважным. Прозвучали цифры, стало тихо, никак было не придумать, о чем говорить. И тут нас снова выручил наш бельчонок. Белк все разрядил. Он вспрыгнул на панель стигнометра, сел, сложив на животике передние лапы и выставив вперед одну заднюю. И стал похож на толстенького монаха-францисканца из Рабле или Шарля де Костера, который после плотно-го обеда лукаво размышляет о греховности всего земного. У Белка есть очень много поз, но такой мы еще не видели. Третий показал на него, и мы все улыбнулись — ладно, пока еще живем.

Даже странно, как много он нам дает — маленький живой комочек. Присутствие зверька постоянно напоминает нам о том, что мы люди. Наверное, если бы на Земле с самого начала не было живого, кроме



человека, он никогда не стал бы Человеком с большой буквы. И наоборот, час — если такой придет, — когда на нашей планете не останется живых существ, кроме людей, будет началом гибели человечества. Для понимания того, кто мы, нам нужно постоянно сравнивать себя с тем, что не есть мы.

Здесь, в бездонных глубинах космоса, особенно отчетливо понимаешь, как ценно это тончайшее, хрупкое и такое редкое образование — жизнь. Теперь, когда известно, что ее нет на Марсе, что ближайшие звезды лишены планет, мы оказываемся едва ли не одинокими во всей Вселенной. Когда-то на Земле было важным одно, когда-то — другое, но сейчас бесспорно, что главнейшее для судьбы человечества — это сумеет ли оно спасти и сохранить основной капитал, то количество видов и оттенков живого, которое мы, люди, застали, сделавшись хозяевами Солнечной системы. Вероятно, в будущем пройдут (к несчастью, запоздало) процессы над теми, кто превращал плодородные земли в пустыню, уничтожал леса, отравлял реки, гонясь за минутным успехом, и на тысячелетия вперед ограбил идущие следом поколения. Мне вспоминается столетней давности фотография в каком-то журнале — английский лорд-охотник в тропическом шлеме сидит на груди черепаха. Ужасно! Антилопа рождается только от антилопы, носорог — только от носорога. Тут ничего не сделаешь другим путем, и если уничтожить последнюю носорожью пару, их уже никогда-никогда не будет. Ведь процесс эволюции неповторим».

Первые отряды застали цветущий мир. Ясно сияли небеса, ползучие травы переходили с одного склона на другой, леса медленно путешествовали, умирая в одном месте и возрождаясь в другом. Здесь все было движущимся — и растения и животные.

И только сначала мешали декабры. Жуткие звери, целиком уничтожившие несколько первых экспедиций — с когтями алмазной твердости, которые на бегу складывались в копыта. Свирепые, хитрые, они могли и красться и скакать. Декабр сокрушал даже металл, — не могло быть речи о защитном костюме. Миллионы лет здесь между мирными слоночерами и хищниками шло соревнование. Первые все укрепляли свою роговую броню, у вторых тверже становились зубы и кинжальные когти.

Человек оказался бессильным перед этой всепобеждающей яростью. Колонистам пришлось вооружиться специальными сжигающими пистолетами. Их никто не снимал с пояса, и тогда декабров истребили так быстро, что даже не успели изучить. Да они и не поддавались исследованию — все равно что изучать молнию в тот момент, когда она ударяет в тебя. А зверь как раз и был подобен молнии. Никто не видел его иначе, как нападающим — даже фотографии сохранились лишь мертвых, сожженных декабров. Только через десятилетие, по следам и рассказам, стали исследовать их зоологию и образ жизни. Черепа свидетельствовали о богатой, изощренной мимической мускулатуре. Спыхватились: не начало ли тут Разумного? Но нет, декабр был слишком физически специализирован, чтобы развиваться. Тупиковая ветвь, которой надлежало сгинуть через миллион, может быть, лет, уступив место чему-нибудь другому.

А поток переселенцев струился на Венеру, несмотря на трудности транспорти-

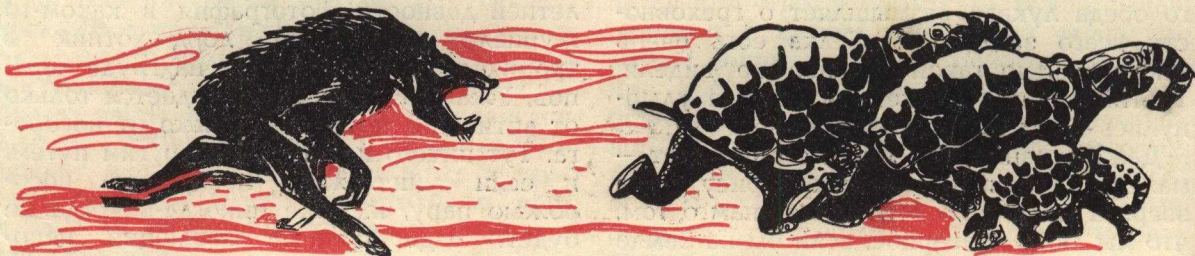
ровки. Открылся новый мир. Круг биологической жизни здесь представлялся сначала более простым, чем на Земле.

Но с годами нарушалось нечто тонкое. От неведомых причин стали гибнуть слоночеры. Мор хлестал с материка на материк. Был случай, когда у моря Павлова самолет обнаружил миллионное скопище умиравших гигантов. И наконец — это было уже при Андрее — Всемирный Совет принял решение об эвакуации. Эксперимент не удался. За шестьдесят лет было разрушено то, что создавалось на Венере в ходе пятидесяти миллионов веков, — биосфера...

А голос, нарочито безличный, неэмоциональный, тек из микрофона:

«...Сегодня мы расстались с цветком африканской фиалки. Трудно установить причину его гибели. Мы прошли холодный слой атмосферы, за бортом сейчас около 200° С. В кабине жарко, с каждым днем температура повышается. Но растение было у нас под колпаком с повышенной влажностью, и ртутный столбик там ни разу не показывал выше 25°. Тем не менее листки поблекли и опустились. Цветок был с нами около трех лет, стал другим. Мы теперь несколько сентиментальны, пожалуй. Стало грустно. Второй сказал: «Все-таки это был смелый кусочек жизни. Как далеко он забрался!»

Это верно. Мы уже в 500 000 000 километров от источника животного света — Солнца. Сейчас кабина еще выдерживает возрастающее внешнее давление газов, кое-что мы увидим до тех пор, пока нас не сомнет. В 15.00 в третий раз попали в прозрачную освещенную зону. Фантастические пейзажи. Пары метана здесь светятся ярко-красным и коричневым. Другой свет бьет снизу, как бы из центра планеты: что там светится — неизвестно. Несколько часов неслись, как в туннеле с бахромчатыми стенками, затем развернулся простор».



Андрей поежился в кресле. Вот так они и неслись тогда к гибели пятьдесят лет назад. И думали о том, как уберечь жизнь. С Землей-то все в порядке. Последние капли нефти упали в моря и реки еще в 70-х годах. Начиная с 1980-го порча природы рассматривалась как тягчайшее преступление.

Но вот с Утренней Звездой не вышло.

Он огляделся. Солнце уже опустилось за хребет Эйнштейна, вступили светлые венерианские сумерки. Андрей повернул рычажок звукоискателя, опять в кабину донесся кашель слоночеров. То было одно из последних стад на планете. Теперь уже знали, что именно от одетых в броню гигантов зависит рост трав — слоночеры как-то оплодотворяли растения, но только в том случае, если двигались сами. Но это-то они и перестали делать. И людям тоже не удавалось сдвинуть их с места. Пока трава была у них под ногами, они ее выедали, и все тут.

Андрей представил себе покинутые города там, дальше, за облысевшими холмами. Пустыни, где еще при его родителях леса шелестели под солнцем. Теперь это был почти лунный пейзаж — пыль и камень. Возможно, люди еще придут, когда в отдаленном будущем истощатся сырьевые ресурсы Луны. Но уже не так, как пришли в конце XX века. Будут установлены колпаки — защита от жарких солнечных лучей и пылевых бурь. Машины проруют глубокие шахты к залежам марганца, никеля, меди. Венера сделается обогатительной фабрикой, но не станет сбывшейся мечтой о прекрасном.

Предчувствие беды опять охватило его. Что такое? Откуда?

Дежурный встал, заходил по кабине, потом щелкнул переключателем на панели.

— Слушай, я просто не могу. Что-то со мной делается. Не усидеть на месте.

— Мне тоже.

— Давай спустимся.

— Давай.

Андрей быстро вышел на площадку, сел в лифт. Выскочил вниз.

Огляделся.

Станным, непривычным стало все вокруг. Опоры башен росли будто из тумана. Свет нескольких ленточных фонарей боролся с сумерками. Новое качество таинственности заволокло здание электростанции, брошенные жилые блоки. Андрей неожиданно почувствовал, что не знает, что там дальше, за корпусами. Должны быть голые горы, а теперь неизвестно что.

Вост стоял неподалеку от первой стафометрической будки.

— Ну?

— Не знаю. — Голос у Воста был хриплый. — Говорят, вот так хотелось бежать от декабра.

— При чем тут декабрь?.. Скорее всего просто одиночество. Понимаешь, на Земле человек не бывает одинок. Даже на необитаемом острове. Все равно есть окружающая планету атмосфера жизни.

— По инструкции, — Вост вдруг перешел на шепот, — мы должны быть в кабинках при угрозе землетрясения.

Он схватил Андрея за руку.

— Слушай.

Станный звук возник и приблизился. Что-то вроде конского топота.

— Лошадь?.. Хотя какая тут может быть лошадь?

Они вглядывались в полосы тумана. Все стихло. Только в двух прозрачных будках стафометров — одна напротив другой — из распахнутых дверей доносилось негромкое тиканье счетчиков, отмечавших борение подземных сил.

Какая-то тень возникла в молочной



мгле, крупная, высокая, и у обоих одинаково разом сжалось сердце. Зловещим было это существо с раскачивающейся походкой, длинной мордой, мускулистыми передними лапами, которые висели вдоль тела.

Декабр!.. Действительно, декабр.

Зверь шел наобум, пошатываясь. Большие глаза, одновременно и жалобные и злые, глянули на затаивших дыхание Воста с Андреем пусто, слепо и не увидели их. Чуть полыхнувший ветерок донес запах гниения, свалывшейся шерсти, какой-то тоски.

— Люди уходят, а он пришел,— прошептал Вост.— Он почуял, что мы уходим.

Декабр смотрел и не видел, не признавая окружающее своим. В десяти шагах от Андрея он опустился на передние лапы—когти сложились в копыта,—скакнул, но неловко, косо. Поднялся опять и нырнул в туман.

— Он слепой,—сказал Вост.

Андрей помотал головой.

Не в этом было дело. Декабр просто не видел при искусственном свете—это выяснили еще при первых встречах.

Стук копыт приближался теперь, но с другой стороны.

— Сейчас он учует,—сказал Андрей.— Ветер от нас.

Декабр вновь возник из тумана совсем рядом, и Андрей, не успев понять, что делает, очутился в кабине лифта. Стукнула дверца, чуть зашелестел подъемник, и тут же человек услышал скрежет вниз. Декабр взбирался по арматуре.

Андрей доехал до верха—черная мохнатая масса отстала всего метров на тридцать—и побежал по эстакаде. В просветах настила под ногами мелькали крыши складов, маленькие совсем. Поверхность озера вдали потемнела, сливаясь с холмами, небо сделалось черным, только над хребтом сохранилась светлая область.

Он добежал до обмерной площадки и сообразил, что не знает, куда дальше.

— Эй, скорее!—Это был голос Воста.

Конец двадцатиметровой стрелы крана приближался к Андрею. Он прыгнул, как акробат в цирке, схватился за какую-то поперечину, почувствовал, что его несет. Подтянулся, влез на арматуру, быстро пополз на четвереньках.

Вост, тяжело дыша, прошептал:

— Спрячемся в стафометрах. Они крепкие. Отсидимся.

Вдвоем они втиснулись в кабину второ-

го лифта, доехали вниз. Как на стометровой дистанции, бросились к будкам. Вост влез в одну, Андрей—в другую, рядом. Эти будки были самыми прочными сооружениями здесь, рассчитанными, чтоб выдержат, даже если завалит сотнями тонн грунта.

Сначала Андрею показалось, что декабр совсем потерял их. Но зверь спустился с башни, приняхиваясь. Он снова ослеп, попав в зону искусственного света. Встал на задние лапы, неуверенно побрел к стафометрам. Натолкнулся на столб фонаря, отскочил и, рассвирепев вдруг, взмахнул когтистой кистью. Столб упал, светящаяся лента оборвалась. Стало темнее на площадке, но для декабра положение переменилось. Он видел теперь. Выпрямился, решительно зашагал к той будке, где укрылся Андрей.

Он обнял будку когтистыми лапами и в упор посмотрел на человека.

Вост завозился в соседней будке, что-то крикнул. Но Андрей не повернул головы. Он смотрел на декабра, понимая теперь, отчего первые колонисты называли его помесью волка с обезьяной.

Грудь, могучие плечи и шея заставляли вспомнить о горилле. А морда была с длинными челюстями, так что пасть могла разеваться на четверть метра. Глаза были прозрачные, большие, с удлинненным разрезом. И уши стояли прямо, возвышаясь над плоским лбом.

Целую минуту декабр был неподвижен. «Думает ли он?»—спросил себя Андрей. Нет, вряд ли. И даже не удивляется ничему. Вот пришли люди, разрушили весь его прежний мир, наставили сооружения. Но у него и представления нет, какой была его планета миллионы лет прежде, ведь родители ничего не сообщили ему об этом. Он зверь и исходит из данной ситуации. Здесь пища, а перед ней преграда. Он мыслит только о себе, ему свойственна полная самостоятельность, он весь в «сейчас» и «тут», его не омрачают, не просветляют ни прошлое, ни будущее.

Все это было так, и в то же время взгляд декабра, казалось, опровергал все это. В нем чудилась тоска, осознание того, что он уже пережиток, реликт на планете, которой впредь надлежит быть только камнем. Боль невозможности дойти до разума, понять и высказать понятное.

И, несмотря на страх, Андрей не мог не ощутить гордую, отчаянную силу животного, не мог не залюбоваться лапами

декабра, мощными, массивными и при этом гибкими и «нервными», на которых связки, кровеносные сосуды и каждый мускул выступали резко, отчетливо, еже-секундно меняя меру выпуклости и на-пряжения.

Зверь вдруг завыл жалобно, прижался грудью к стеклу. Андрей отшатнулся. Опять что-то крикнул Вост в своей будке и махнул рукой. А затем Андрей почувствовал, что им пропущено нечто. Зверь прыгнул к Восту. Но даже не прыгнул,



потому что самого движения не было видно. Просто декабр сначала был в одном месте, а потом сразу оказался в другом. Без промежутка.

Декабр обхватил вторую будку и потряс ее. Но она стояла прочно. Тогда он поднял лапы, и резко проскрежетало что-то. Андрей в ужасе закусил губы, потому что кристаллизационное стекло поддалось. Пять тоненьких стружек — по одной из под каждого когтя — брызнули в воздух, постояли и разрушились, падая. Снова взмах, и еще раз как будто струйки воды, внезапно иссякнувшей, повисли и опали. Зверь пустил в ход обе лапы, он рыл и царапал стекло, как собака роет землю. Через несколько секунд в двери образовалась дырка. Андрей видел, как Вост старается вжаться спиной в приборы.

Декабр попробовал сунуть лапу в отверстие, она еще не лезла. Он снова взялся царапать. Сама природа научила его этому, так он и мясо убиваемых им слоночеров добывал из-под стальной несокрушимости панциря.

Счетчик стафометра на уровне затылка Андрея защелкал неожиданно громко, торопясь, захлебываясь. Но первый дежурный не услышал. В голове метались обрывки мыслей. Вот он, Вост, рядом... Сейчас он погибнет...

Он нажал замок двери, ударил ее ногой и выскочил из будки.

— Эй, ты! Жри меня!.. На!

Но в этот момент стафометр за его спиной забился, заверещал, что-то сгустилось в воздухе, он стал ощутимым, плотным. Свирепо дрогнула почва, металлические конструкции Центра задрожали, зазвенели. Удар, второй... Андрей почувствовал, что его поднимает.

При первом толчке землетрясения декабр сделал гигантский прыжок от будки на открытое место. Он сел, как собака, уперев передние лапы в песок, подняв вверх морду, прислушиваясь.

Еще раз качнулась почва, Андрей едва устоял на ногах.

Декабр стал во весь рост, сделавшись очень похожим на человека. Опустился на ноги и уверенным галопом поскакал прочь.

Стук копыт слышался некоторое время и стих.

Андрей глубоко вздохнул. Силы вдруг оставили его. Он сел на землю.

Распахнулась дверь второй будки. Вост вышел, пошатываясь. Он сделал несколь-



ко шагов как-то бесцельно, оглядываясь по сторонам. Остановился, рванул с пояса пистолет, направил его на стафометрическую будку.

Ярко, ослепляюще вспыхнул пятиметровый рукав плазменного пламени, белого в середине, синего по краям. Пахнуло жаром. Будка, вся оплавленная, покосилась. Вост направил пистолет на столб фонаря. Вспышка — и столб покосился.

Потом второй дежурный отшвырнул пистолет, подошел к Андрею и опустился рядом с ним на песок.

— Ты понял, что я тебе кричал?.. Чтоб ты не выстрелил.

— Я бы и не стал стрелять, — сказал Андрей.

— И я бы не стал. — Вост кивнул. — Даже если б он сожрал тебя. И если потом меня тоже.

Уже совсем стемнело кругом.

Пустыни Венеры, ее горные хребты лежали во мраке. И где-то в неизвестном убежище выжили, выдержали несколько последних декабров. Люди покинули планету, и один из прежних хозяев вышел на разведку.

— Не может быть, чтоб он сохранился единственным, — сказал Андрей. — Их тридцать лет не видели, а живут они меньше. Значит, где-то удержались.

Вост открыл рот, намереваясь что-то сказать, но тут они оба опять почувствовали колебания почвы. Однако стафометр в будке молчал. То было не землетрясение, другое. Там между башнями и озером двинулись в путь тяжеловесные слоночеры. Древний инстинкт не изменил декабру. Он ворвался в стадо, калеча и убивая слабых. Погнал могучих животных, которые были устроены так, чтоб бояться только его одного. Заставил двинуться тех, от чьего движения зависел тут круговорот жизни.

Андрей и Вост посмотрели друг на друга, затем оба подались вперед, прислушиваясь.

И он пришел...

Издалека, все обнимая, исподволь, низом сначала, и поднимаясь все выше, донесся звук органной басовой трубы. То вожак слоночерского стада поднимал своих подданных к бою и бегу.

Вост взял руку своего друга.

— О, если бы!..

И Андрей ответил ему пожатием.



О ЧЕЛОВЕКЕ БЫВАЛОМ, ПИСАТЕЛЕ ВЕСЕЛОМ

Раскрыв толстую книгу, написанную им, вы ощутите близость моря, услышите шум прибоя, почувствуете запах моря, увидите его красоту. Написал книгу моряк и писатель, веселый и бывалый человек Андрей Сергеевич Некрасов.

Первая повесть этой книги впервые была напечатана в журнале «Пионер» тогда, когда его читали даже не ваши папы и мамы, а дедушки и бабушки. Они читали ее и весело смеялись над приключениями яхты «Беда» в кругосветном плавании так же весело, как будете смеяться и вы. Это потому, что есть книги неумирающие, такие, которым суждена долгая и светлая жизнь.

Андрей Некрасов был младшим товарищем и отчасти учеником замечательного писателя Бориса Степановича Житкова, о котором не так давно написал очень интересные воспоминания. В них он показал, как учился не только писать, но видеть мир так, как он видит его сейчас. Это не просто, быть может, в литературном деле это — самое главное.

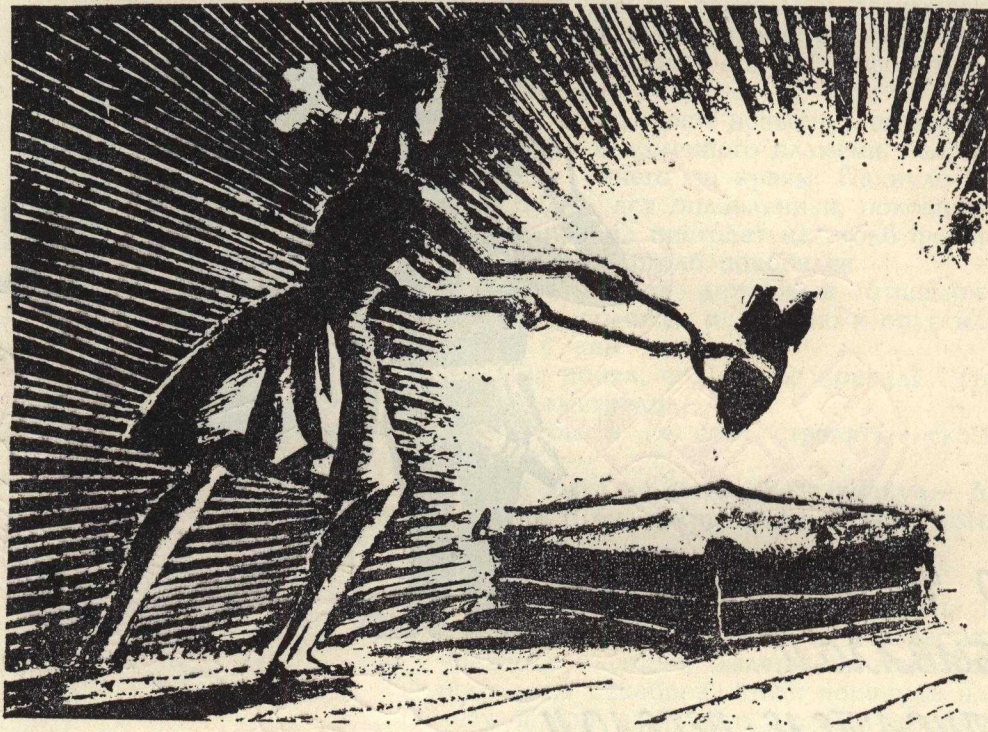
Прочтите рассказы Некрасова — в них трепет жизни, ее краски, ее запах. Некрасов умеет передать на бумаге и ощущение, и действие, и сущность. Уж если он начнет рассказывать, безусловно, увлечет читателей, и до последней строчки не оставишь книгу. Потому что Некрасов рассказчик

прежде всего. Кажется, будто, когда он пишет, перед его умственным взором возникает тот, для кого он пишет. А пишет он по преимуществу для ребят.

Вот и его книга «Повести и рассказы» — итог большой литературной жизни — издана в издательстве «Детская литература». Как и почти все, что написал Андрей Сергеевич, она обращена к юным читателям. В ней рассказы и повести за многие годы творчества. Нетрудно по ним судить о склонностях автора. Как мы уже сказали вначале, Андрей Некрасов — певец моря. Ему близка водная стихия. И в этом отношении он сродни Борису Житкову, для которого море было родным домом. С охотой в любое плавание, в далекие края отправляется Андрей Некрасов, увозя с собой девчонок и мальчишек, показывая им разнообразие мира. Его книга поэтому открытие. Она открывает новых людей, новые пейзажи, великолепную многоцветную красоту прекрасной планеты, имя которой Земля.

Эти качества в молодом писателе зорко увидел Б. А. Ивантер, который был в то время редактором «Пионера». С тех пор Андрей Сергеевич постоянный сотрудник журнала и член его редколлегии. Он друг «Пионера», а значит, и ваш.

И. РАХТАНОВ



Так пролегла дорога

Л. МАТВЕЕВА

Рисунки Ю. ЧЕРЕПАНОВА.

Война была не только на войне — она была везде. Москва до войны была одна, а в войну стала совсем другая. Разрисованные пятнами дома — камуфляж, прижмуренные фары машин — светомаскировка; в магазинах все по карточкам; дома вечером опускаются шторы из синей выгоревшей бумаги. И двор, наш тихий зеленый двор, где еще с до войны знаком был каждый кирпич, каждая царапина на заборе, тоже нахмурился. На стене фанерные стрелки с надписью «Бомбоубежище», на лестничных площадках ящики с песком — тушить зажигалки; дворничиха тетя Настя ходит с противогазом через плечо, на рукаве у нее повязка «Дежурный ПВО», то есть противовоздушной обороны. В городе мало людей, гулками стали улицы, и сов-

сем уж мало было мужчин. Женщины-милиционеры, женщины-шоферы. Наша соседка по квартире, которую все во дворе звали просто Надей, хотя ей было лет тридцать, работала теперь шофером грузовика и не приходила домой по нескольку дней. А потом появлялась худая и черная, долго мылась в кухне под краном, садилась на табуретку у своего стола и говорила:

— Так устала, что и есть не хочу.

Она медленно съедала суп из зеленой в белых крапинках миски и засыпала тут же, на кухне, уронив голову на липкую клеенку.

Другая соседка, тетя Маруся, говорила: — Умаялась, бедная, — и уводила Надю в комнату, укладывала на диван.

Диван был Надиной гордостью. Она ку-

пила его перед самой войной, а на кухне сказала:

— Не хуже людей живем,— и метнула взгляд в сторону моей мамы.

Надя покрыла диван вышитой крахмальной дорожкой и на выпуклую спинку прикрепила еще одну дорожку. Так он и красовался у них на видном месте, а сидели на стульях. Теперь Надя в замасленном шоферском комбинезоне лежала прямо на вышитых астрах. С утра ей снова надо было садиться за баранку: она возила на своем грузовике снаряды к эшелонам, которые шли на фронт.

До войны Надя и тетя Маруся часто ссорились из-за чего попало: из-за бельевого прищепки, из-за мусорного ведра. Надя кричала, как визгливый пулемет, а тетя Маруся огрызалась солидно, не торопясь. Я любила слушать, как они ругаются. Когда взрослые говорят спокойно, они прогоняют детей, а в ссоре на меня не обращали внимания и говорили без оглядки.

Ругались они долго, потом тетя Маруся, исчерпав аргументы, говорила:

— У культурных людей и дети вежливые.— Она кивала на меня.— А у твоего Мишки одни двойки...

Мне почему-то становилось стыдно, что отец у меня не выпивает, что нет у меня двоек и что мы культурные.

Теперь мой отец был на фронте и редко писал, а мама научилась печь лепешки из картофельных очистков. И Надин муж был на фронте и тоже редко писал. Никто на нашей кухне больше не ссорился, все были усталые и часто задумывались.

И ребята в нашем дворе, те, кто не уехал в эвакуацию, тоже жили не так, как до войны. Мы перестали дразнить Зинку за то, что она рыжая. Мы теперь дразнили Тамару за то, что ее отец не на фронте. Мы называли ее дезертиркой и не принимали играть в казаки-разбойники. Тамара говорила:

— Я же не виновата, что у папы бронь.

Но мы не слушали ее, слово «бронь» казалось противным.

Однажды, еще в начале войны, мы играли в пряталки. Мишка из нашей квартиры вылез из-за бочки с водой и крикнул:

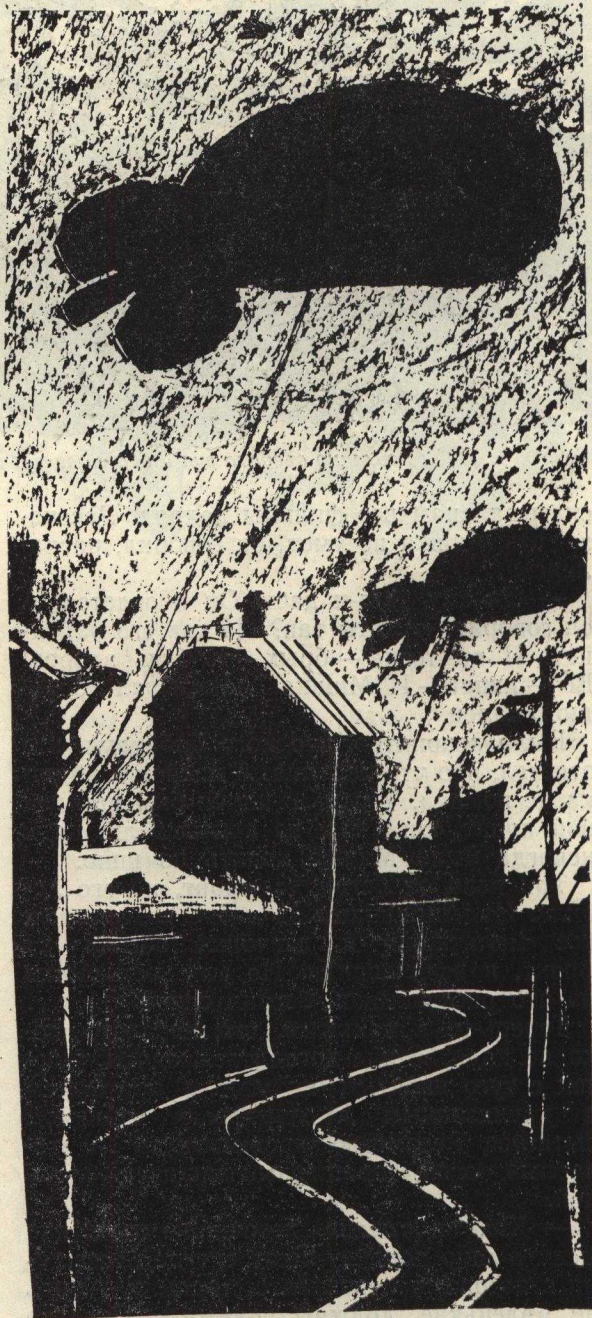
— Мне чур! Я пошел на чердак, скоро начнется тревога, а я дежурный.

Тревога действительно началась — у нас в те месяцы было чутье на тревоги. И все,

даже десятилетний Славка, умели тушить зажигалки.

Мишке везло, в его дежурство зажигалки так и сыпались на чердак, а в мое их бывало мало, и я завидовала Мишке.

До войны Мишка больше всего на свете любил ходить в кино. Он не пропускал в клубе «Каучук» ни одной картины и рас-



В войну Москва стала совсем другая.



Надя медленно съедала суп и засыпала тут же, на кухне.

сказывал нам все фильмы подряд. Рассказывать Мишка не умел, он говорил, распаляясь:

— Он ему ка-а-к даст! Он и отлетел. А он говорит: «Ах, ты так?» И как его бабахнет! И он тогда — брык — и будь здоров! Во — кино! — И Мишка показывал большой палец.

Было непонятно, кто кого бабахнул, кто отлетел, про что картина. А названий Мишка не помнил. Теперь в клубе был призывной пункт, кино там не показывали, да и некогда было Мишке ходить по кино.

Три раза он бегал на фронт, но его ловили. Над ним никто во дворе не смеялся: все мальчишки и девчонки бегали на фронт, и всех ловили. Но мы, неизвестно на что рассчитывая, бегали снова.

Теперь-то я понимаю, что никакого нюха не надо, чтобы догадаться, зачем человек с туго набитым школьным портфелем и привязанным к портфелю чайником пытается незаметно прошмыгнуть в товарный вагон, окрашенный защитной краской.

— Как не стыдно, девочки? — совестила меня и мою подругу Лизу сутулая женщина с погонами лейтенанта милиции. — Ведь не маленькие, должны понимать. Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — соврала я.

Женщина вздохнула.

— А тебе?

— И мне четырнадцать, пятнадцатый, — пробасила Лизка.

Я хоть была высокая, а Лизка — коротышка. А лет нам с ней было одинаково — по двенадцать.

Нас отправили домой в сопровождении старичка милиционера. Он хмуро смотрел на нас всю дорогу, пока мы тащились на трамвае, а потом перед нашим подъездом дал по куску сахара и погрозил пальцем:

— Чтобы больше — ни-ни!

Война все шла, долгая, бесконечная.

А мы росли. Нам уже не казалось, как в первые месяцы, что бить фашистов — одно удовольствие. Мы узнали, что война — это страшно.

Однажды я стояла у нашего парадного и ждала, когда выйдет Лиза. Она жила рядом, но заходить за ней я не хотела: Лизина мама всегда старалась меня угостить.

Я стояла и ждала, когда Лиза выйдет. Спешить было некуда. Вдруг вижу — через двор прямо ко мне идет почтальонша. Не наша довоенная Зоя, Зоя давно уже была на фронте связисткой, а пожилая, низенькая, она и зимой и летом носила стеганые ватные бурки.

— Девочка, где Смирновы живут, знаешь?

Я кивнула. Смирновы — это над нами.

До войны Смирновы жили шумно. Часто на потолке у нас дробным стуком долбили цыганочку.

— У Смирновых опять гости, — говорила мама.

— Тут Смирновым письмо, — сказала почтальонша. — Снеси, а то ноги у меня больные.

Я взяла письмо и побежала по лестнице. Хорошо, когда у тебя не больные ноги, когда человек дождался письма. Жаль, если тети Шуры нет дома и она не сразу узнает про письмо. Но тетя Шура была дома, она

сама открыла дверь, в халате, с кухонным полотенцем в руке. Она была круглолицая и румяная — не удивительно, что такая весело отплясывала цыганочку и пела неугомонно про какого-то Хазбулата.

— Вам письмо! — Мне хотелось, чтобы тетя Шура поняла, что я тоже рада.

Но она не смотрела на меня.

Она схватила конверт, глянула на сероватый листок и вдруг страшно закричала, упала прямо на холодную лестничную площадку, забилась и все повторяла:

— Убили! Убили!

Я бормотала какие-то слова и старалась поднять тетю Шуру с пола, мне казалось, что это важно — поднять ее с каменного пола. Но она была тяжелая. Из других квартир выскочили люди; все стояли и не знали, что делать. А сделать было нельзя ничего. Тетя Шура все кричала. И никто ничего не говорил. Только старик с четвертого этажа, совсем старый, с зеленоватой бородой, долго смотрел, а потом сказал:

— Война.

Так в наш подъезд пришла первая похоронная. Потом их было много вокруг. Убили сына у нашей учительницы русского языка Веры Ивановны, погиб наш учитель физкультуры Рафаил Яковлевич. Он был строгий, я не любила раньше уроков физкультуры, у меня плохо получалась «лягушка» на кольцах, и, чтобы ребята надо мной не смеялись, я бегала с физкультуры. А Рафаил злился и записывал мне в дневник прогулы. Теперь его убили. И еще многих. Нескольких десятиклассников — мы не знали их по именам: они не хотели иметь с нами никаких дел, они учились в десятом, а мы — в пятом. Теперь мы в седьмом, а их нет. Я не хотела больше ходить в школу, учить уроки и получать отметки. Пусть этим занимаются дети, а нам с Лизой теперь и правда по четырнадцать лет.

Все каникулы мы работали в колхозе



Нас отправили домой в сопровождении старичка милиционера.

вместе с учителями. Учителя понимали, о чем мы думаем, они часто повторяли: «Это работа для фронта, для армии». Но работа была слишком солнечная и мирная. И ребята помладше все бегали на станцию, пытались удрать на передовую. А мы уже не бегали — мы были большими.

В конце августа я вернулась домой, и первый, кого я встретила, был Мишка. Настроение у него было прекрасное.

— Нашу школу закрыли! — с восторгом крикнул Мишка. — Не будет школы, и будь здоров.

— А что будет? — спросила я, пытаюсь вникнуть в Мишкины высказывания.

— Госпиталь, вот что, — объяснил Мишка. — А мне отец фонарь прислал. Настоящий немецкий! — И он стал мигать в коридоре фонариком с разноцветными стеклышками. Коридор освещался то красным светом, то желтым, то зеленым.

Мишкина радость была дурацкая. Школу просто переселили в другое здание.

Мы с Лизой пошли в нашу старую школу. Парт не было, они кучей громоздились во дворе. В школе пахло больницей, раньше такой запах был только в кабинете школьного врача, а теперь везде.

— Девочки, вам кого? — остановил нас у пустой раздевалки человек с погонами капитана.

— Мы хотим работать в госпитале, — сказала я. И зачем-то добавила: — Это наша школа.

Он внимательно посмотрел на нас и отрывисто спросил:

— Возраст?

— Шестнадцать, — по привычке соврала Лиза.

— Врешь, — спокойно оборвал капитан, — четырнадцать.

Мы сознались, что, правда, четырнадцать.

— Ну вот что, — сказал капитан, — одну приму, вот эту, покрепче. Все. Пиши заявление, заполняй анкету. Завтра выходи на работу.

Лиза была хорошим товарищем, она не умела завидовать. Через несколько дней Лиза поступила на тети-Марусину швейную фабрику, где до самого конца войны пришивала пуговицы к солдатским гимнастеркам, брюкам, шинелям и ватникам.

Капитан Мирошниченко, замполит эвакогоспиталя «сорок шесть двадцать три», был человеком немногословным. Мне в первые дни казалось, что он сердится, потом я перестала его бояться — он был добрый, на Украине у него погибли в оккупации жена и две дочери.

Капитан зачислил меня в заведующие клубом. Но тут же добавил, что и носилки таскать придется, если завоз большой. Так и сказал — «завоз» про раненых.

Раненых в госпитале было много, их называли больными, наверно, для того, чтобы не напоминать про страшные бои. Больные лежали в классах, спортзале, в кабинете физики, в коридорах. Тесно стояли кровати, валялись костыли. В бывшем кабинете директора школы Дмитрия Петровича была операционная, в учительской на третьем этаже — перевязочная. А в библиотеке, где уютно устроившись за шкафами, мы читали трепанье и такие дорогие книги про Тома Сойера, капитана Немо, Саню Григорьева, РВС и джеклондоновских бесстрашных путешественников, — там теперь была хлебозрезка. И только на самом верху, в актовом зале, так и был зал. Он теперь назывался клубом. Там стояли книжные шка-

фы из нашей библиотеки, два раза в неделю ходячие больные смотрели здесь кино, а иногда под праздник приезжали артисты из Гастрольбюро.

— Сестра, кино будет? — спрашивал сапер Коля. — Он караулил у двери в клуб, но зайти стеснялся. — А какое кино будет?

— «Актриса», — отвечала я.

— Да ведь на той неделе была «Актриса»! — удивлялся Коля, и его белобрысы брови смешно поднимались через весь лоб.

— Ну и что ж? В кинопрокате нет сегодня других лент, да и новеньких у нас много, они еще «Актрису» не видели.

— Да, новых полно, — вздыхал Коля. — Новых сегодня всю ночь таскали. А меня когда будут выписывать, не слыхала?

— Нет, Коля, не знаю. Мне про это не говорят.

— Ну, ладно, пойду.

И он, отталкиваясь костылем, ловко прыгал через три ступеньки на одной ноге. Другая была в гипсе. И говорили, что кость срастается плохо и ногу, возможно, придется ампутировать. Коля про это пока не знал.

Выздоровливающие то и дело торопили врачей: выписывайте поскорее, а то война без меня кончится. Люди не говорили героических слов — и так все было понятно, — они хотели воевать дальше.

Аркадий Авдеев, большой человек с маленькими глазками и растопыренными ушами, басил:

— Разве это борщ? Вот на передовой харчи, это да!

В одиннадцатой палате у окна лежал близорукий десятиклассник Павлуша. В санитарном поезде, когда Павлушу везли в госпиталь, он потерял очки. Другие очки в войну достать было трудно, а без очков Павлушу не выписывали: он видел так плохо, что путал меня с капитаном Мирошниченко и врачом Елизаветой Ивановной — женщиной толстой и суровой. Как завидит в коридоре или на пороге палаты белый халат, прищурится, вглядываясь, и начнет петушиным голосом скандалить:

— Когда меня выпишут наконец? Плечо давно зажило, а вы меня из-за очков мариноуете.

Врачи и сестры привычно и устало успокаивали:

— Спокойно, больной. Не волнуйтесь, больной.

Выписывали многих, и письма, которые шли на адрес госпиталя, часто приходилось отправлять обратно с пометкой «Адресат выбыл». Толстыми пачками я носила эти письма на почту, а иногда, когда почта была уже закрыта, приносила домой, чтобы отправить завтра.

Мама почему-то подолгу перебирала их в руках, эти потрепанные шершавые треугольники, и вздыхала.

Мишка, влетая к нам в комнату, хвалился:

— Нам отец галеты прислал, настоящие американские! Если в кипятке размочить, большая получается — во! А какое у вас в госпитале кино было, расскажи кино, а? — Вдруг Мишка замечал на столе конверты. Лицо у него вытягивалось, становилось совсем грулым. — Это вы столько писем получили?! Вот это будь здоров! И нам не скажали.

— Хоть бы одно получить, — вздыхала мама. — Шел бы ты, Миша, лучше уроки делать.

С утра я разносила по палатам книги: многие раненные не могли сами подниматься в клуб. Библиотека была школьная, книги в основном детские, но это никого не смущало: читали много и охотно. Люди были усталые, искали легкого чтения. «Граф Монте-Кристо» шел нарасхват. Анекдоты о Ходже Насреддине затерли до дыр. Как-то вечером я читала их в одной палате вслух, все хохотали так, что пришла операционная сестра Капа, строго посмотрела на меня и сказала:

— Потихше. Мешаете работать.

А когда увалень-сибиряк Тонких облил борщом «Белого Клыка», его ругала вся палата.

— Знаешь, сестренка, — сказал мне как-то пожилой солдат Тихон Иванович, — ты уж без очереди принеси к нам в шестнадцатую какую-нибудь завлекательную книжечку. Новенький у нас вчера поступил. Плохи дела у него. Он уже в четырех госпиталях побывал, да что толку!

Прихожу в шестнадцатую. У окна лежит паренек, совсем молодой. Без двух рук. И слепой. Был он шофером, и его грузовик подорвался на mine. Вывернуло руль и оторвало Леше кисти рук, а глаза взрывом выжгло.

Лежит его обожженная голова на белой подушке, и такая мука на лице.

— Леша, — говорю, — хочешь, я тебе книжку почитаю?

— Нет! Уходи.

— Леша, может, ты пить хочешь? Или курить? — Надо же хоть что-нибудь сделать для него.

— Уйди, сестра, уйди, не надо мне ничего. Жить не хочу. — И из слепых его глаз слезы.

— Уйди! — кричит. — Еще ты тут будешь реветь — без тебя тошно.

И поняла я тогда, что нет ничего хуже на свете, чем беспомощность — видеть беду и ничем не помочь.

На другой день Тихон Иванович пришел в клуб и сказал:

— Тебя Леша зовет.

Я побежала.

— Ты, сестра? — говорит Леша. — Давай я тебе письмо продиктую.

Взяла я тетрадку, пишу.

— Здравствуй, Маруся! Я жив.

Леша долго молчит. Слышу за дверью голос Тихона Ивановича:

— Да погоди ты, Николай, со своим кино, не тормози ее!

— А что стряслось? — Коля не любит быть не в курсе дела.

— Лешка письмо пишет.

— А... — Колин костыль стучит по коридору. Ушел.

В шестнадцатой кто мог ходить вышли. Остальные уткнулись в газеты и книги. Один спит. Никто не слушает Лешиных слов, такие слова нельзя слушать — они для одного только человека на всем свете.

— Помнишь березку, — диктует Леша, — я у березки тебе признался, что люблю. Приезжай, Маруся... Все, — говорит Леша совсем другим голосом. — Теперь адрес пиши разборчивей и беги на почту. — И опять другим голосом: — Как думаешь, приедет?

— Приедет! — говорю я.

— Не сомневайся! — подают голос соседи. — Прилетит твоя Маруся.

— Факт, приедет, — гудит в дверях Тихон Иванович.

Я со всех ног лечу на почту.

Раньше меня встречали в палатах вопросами:

— Писем нет?

— Кино будет?

Теперь прибавился еще один:

— Маруся не приехала?

А Маруся все не ехала и не ехала. Что-то долго она не ехала.

Я выдумывала Леше истории про то, что



— Прощай, сестра, в часть еду!

в Москву не так просто добраться из Саратовской области.

И когда все уже думали, что не приедет Маруся, она приехала. Утром вбежала в вестибюль, кудрявая, в васильковом тоненьком платье, кое-как накинула белый халат и взлетела наверх. Она вошла в шестнадцатую палату, постояла в дверях, отыскивая глазами своего Лешу, и увидела его стриженую обожженную голову. Она подошла поближе. В палате стало очень тихо. Я вцепилась в руку Тихона Ивановича, он гладил меня по голове, как будто надо было утешать меня, а не их. Маруся стояла около Лешиной кровати, он не видел ее. На одеяле спокойно лежали забинтованные обрубки рук, смотрели в потолок невидящие глаза. Маруся постояла, постояла и пошла из палаты, прикрыв рот рукой. И ушла вниз, и на улицу, и ушла совсем.

Леша, видно, почувствовал что-то, встретился.

— Кто здесь?

Тихон Иванович сказал:

— Никого.

И все нарочно заговорили о чем-то постороннем.

Так я увидела в первый раз в жизни предательство.

В десять вечера в палатах гасили свет, совсем как в пионерском лагере. Дежурная сестра обходила палаты.

— Спать, больные, спать!

Но многим не спалось. Мешали разные мысли: на фронтах было тревожно.

В коридоре на покрытом белой простыней столике дежурной сестры горела лампа. Весь коридор был в темноте, и у лампы было особенно уютно. Сюда, к лампе, собиралось обычно человек пять-шесть раненых. Не балагурили с сестричкой, как днем, а вспоминали. Я присаживалась в сторонке на белую табуретку и слушала, как танкист Сережа рассказывает про свою деревню, где речка с омутами, а караси, что поросята, жирные и крупные. Коля-сапер, всегда быстрый, немного суматошный, сидел в такие вечера тихо, больше молчал.

В Москве сняли затемнение. В нашем дворе окна сияли по вечерам, как раньше. Только не все — за многими окнами никто не жил. Маскировочные шторы остались лишь в нашем клубе: я опускала их, когда шел кинофильм, чтобы в зале было темно. Киноаппаратуру мы привозили с Петровки, а коробки с лентами — с Потылихи, где был «Мосфильм». Капитан Мирошниченко видел, что одной мне не справиться, и раз-

решил брать с собой выздоравливающих. Добровольцев было полно — всем хотелось в город, хоть на час-другой снять с себя опостылевший байковый госпитальный халат, пилотку из газеты и пройтись по Москве. Долго рядились, кому ехать, и были похожи на мальчишек из нашего двора.

— Ты в тот раз ездил! — упрекал Павлуша Аркадия Авдеева. — Ты что же это жилишь?

— Ничего не жило. Петро тоже два раза ездил, правда, Петро?

— Не помню, я чи ездил, чи не ездил, — хитрил Петро.

Наконец выяснение отношений закончилось, и мы отправлялись на автобусе в центр. Солдаты не отрывались от окон.

— А это что?

— Это академия Фрунзе. Тут до войны танк стоял. А это Кропоткинская, здесь было строительство Дворца Советов.

— А это что за дом?

— Музей изобразительных искусств. Библиотека Ленина. Большой театр. — Только тогда я поняла, как люблю свою Москву.

Наконец все ящики и коробки были доставлены в клуб. Я обегала палаты, и раненые собирались в зал. Садись не только на стулья — на подоконники и просто на пол, некоторые стояли. Тех, кто ходил с трудом, приводили под руки и даже приносили. Не так много развлечений в госпитале, а тут — кино.

Один раз, когда шел «Небесный тихо-

ход», вошел капитан Мирошниченко и громко, перекрывая песенку «Мы парни brave», сказал:

— Наступление! Нашими войсками взяты Орел и Белгород! Сейчас будет салют.

Картину прервали. Все повставали со своих мест. Кто-то кричал «ура», кто-то плакал. С окон сорвали шторы. И салют тем, кто не сдался, тем, кто выстоял и вытерпел, тем, кто добился, сверкал и гремел над Москвой, над нашим тихим госпиталем.

Назавтра раненые осаждали кабинет начальника госпиталя, ловили в коридоре Мирошниченко, атаковали врачей:

— Когда меня выпишут? Мне на фронт надо!

Выписывали в те дни многих: наступление требовало людей.

Утром, когда я пришла на работу и была в раздевалке свой халат, мне встретился Тихон Иванович. Я его не сразу узнала: вылинявшая, но ладно пригнанная военная форма, пилотка чуть набок. И штук пять орденов и медалей.

— Прощай, сестра, в часть еду!

Я проводила его до угла, он потрепал меня по голове и ушел, чуть прихрамывая.

Через день уехал Павлуша в новых железных очках, потом выписался Аркадий.

Все рвались на фронт. Дорога к миру, к покою, к дому лежала через передовую, через войну.

Так пролегла дорога.



КТО БУДЕТ ЧЕМПИОНОМ!

Три дня спустя после начала занятий собрались любители шахмат тридцатой школы, чтобы поговорить о том, как провести тур-

ниры на первенство школы, как организовать обучение новичков.

И решили ребята сначала провести турниры в классах, а потом победители этих соревнований будут оспаривать титул школьного чемпиона. Всем, кто выполнит норму, будет присвоен спортивный разряд.

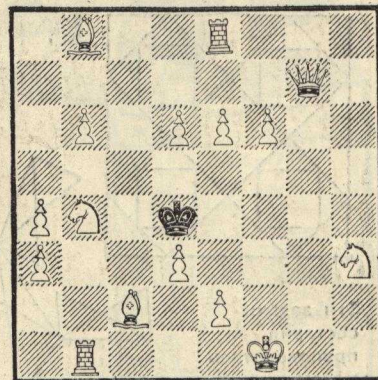
— А я, — сказал Пешкин, которого ребята пригласили к себе в школу, — помогу оформить получение разряда тем, кто пришлет мне таблицу результатов.

После собрания хотели провести сеанс одновременной игры, да вот беда: никто не принес шахматы.

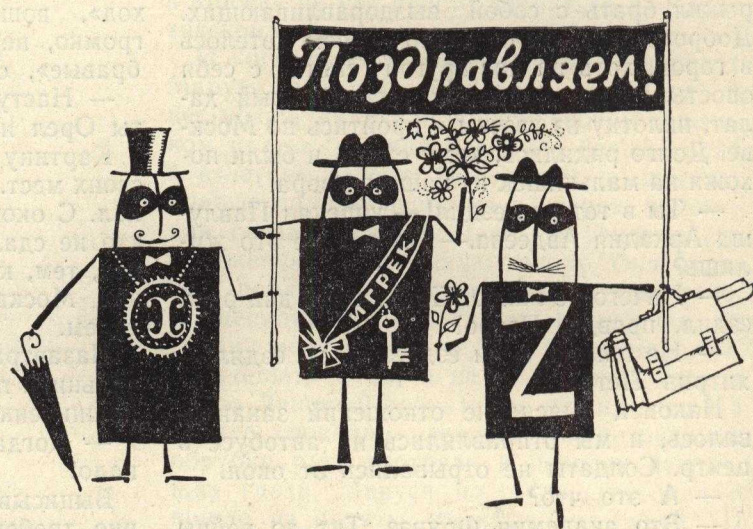
Бросились в пионерскую комнату и нашли там шахматы. Но что это были за шахматы! Белые фигуры все, а черные — только один король остался. Как играть ими?

— Это урок вам на будущее, — сказал Пешкин своим друзьям. —

Какие же вы шахматисты без шахмат? Но и с этими фигурами можно что-нибудь придумать. Вот я дам вам задачу. Белые, и фигуры и пешки, окружили беднягу черного короля. Попробуйте дать ему мат в два хода.



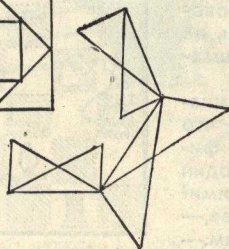
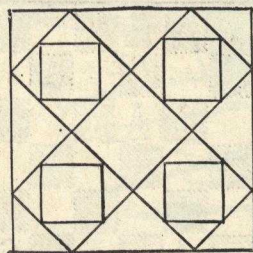
Встречи с тремя неизвестными



В чем дело? Что случилось? Почему Трое неизвестных сегодня явились на нашу встречу такие нарядные и торжественные? Кого они с таким волнением приветствуют и поздравляют? Не каждый ответит на эти вопросы — только те, кто недавно получил украшенный алой лентой и особой печатью «НАГРАДНОЙ ЛИСТ ИКСА, ИГРЕКА И ЗЕТА»... Трое неизвестных надеются, что в новом учебном году у них будет еще больше друзей. Итак, успеха самым настойчивым и находчивым! Перед вами новые тайны, загадки и задачи Икса, Игрека и Зета!



Если удастся решить эти задачи, пришли нам свои ответы, причем покажи стрелочками на чертеже, как двигалась твоя рука, а каждый отдельный участок фигуры обозначь цифрой. Не забудь: нельзя пересекать одну линию другой и нельзя дважды чертить линию на одном месте.



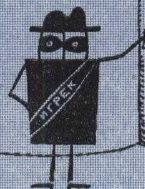
Эти задачи составил преподаватель математики Н. Д. ФУРЕГОВ.

СНОВА МАТЕМАТИЧЕСКИЙ КРОССВОРД

Напоминаем тебе условия: вместо каждой из семи букв в этом равенстве надо поставить определенную цифру так, чтобы получилось тождество. Причем, конечно, различным буквам соответствуют и различные цифры.

Вот
нам
новый
кроссворд:

РЕШИ
+ ЕСЛИ
СИЛЕН



Трое ребят из одного двора — Алик, Боря и Витя — вместе купили футбольный мяч. Каждый из них дал денег не больше, чем половина той суммы, что вложили двое остальных. Мяч стоил 6 рублей. Сколько денег дал Витя?



Чей портрет?



Одного мудреца спросили как-то: «Чей это портрет висит у вас на стене?» Мудрец ответил: «Отец висящего есть единственный сын отца говорящего». Чей же это был портрет?

Неизвестные раскрывают свои тайны

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ ИКСА, ИГРЕКА И ЗЕТА ИЗ «ПИОНЕРА» № 8

«СЧАСТЛИВЫЕ БИЛЕТЫ». Если номер N «счастливый», то и номер 999999 — N тоже «счастливый». Разобьем все «счастливые» номера на пары: каждому «счастливому» номеру N, меньшему 500000, сопоставим «счастливый» номер 999999 — N. При этом, правда, один «счастливый» номер 999999 останется без пары. Сумма номеров одной пары — 999999. Если всего P пар, то сумма всех «счастливых» номеров равна 999999 P + 999999. Это число делится на 13, так как $999999 = 999 \times 1000 = 77 \times 13$.

В прошлом номере мы печатали отрывок из книги Сервантеса «Дон Кихот», где Санчо, будучи губернатором, разбирал судебные тяжбы. Сейчас вы прочитаете, какой выход нашел знаменитый оруженосец странствующего рыцаря из очень нелегкого положения.

— Сдается мне, — сказал Санчо, — что это дело можно решить в двух словах, и вот как. Этот человек поклялся, что пришел для того, чтобы его повесили, и если его повесят, то клятвы его окажется правдивой, и по закону его нужно было бы отпустить и позволить перейти через мост; если же его не повесят, то выйдет, что клятва его ложна, и по тому же закону он заслуживает виселицы.

— Сеньор губернатор рассуждает вполне правильно, — ответил посланный, — вы, без сомнения, поняли и уразумели это дело в совершенстве, так что лучшего и желать нельзя.

— В таком случае, я полагаю так, — сказал Санчо, — пусть судьи пропустят ту половину этого человека, которая сказала правду, и повесят другую половину, которая солгала; таким образом, все условия перехода через мост будут соблюдены в точности.

— Но ведь тогда, сеньор губернатор, — возразил посланный, — придется этого человека разрезать на две половины — одну правдивую, а другую лживую, а если его разрезать, он неизбежно умрет, тогда закон не будет выполнен ни в одной, ни в другой своей части, а между тем совершенно необходимо соблюсти его полностью.

— Послушайте-ка, милейший сеньор, — ответил Санчо, — если только я не болван, то у вашего пупника есть столько же оснований помереть, как и остаться в живых и перейти через мост, ибо, поскольку правда дарует ему жизнь, постольку ложь осуждает его на смерть, а раз это так, то передайте сеньорам, которые вас ко мне послали, что решение мое таково: ввиду того, что у них столько же оснований для того, чтобы его осудить, как и для того, чтобы оправдать, то пусть они разрешат ему свободно перейти, ибо всегда похвально делать добро, а не зло; под этим решением я подписался бы собственноручно, если бы только умел подписываться; и все, что я тут по этому случаю сказал, я взял не из своей головы, а просто-напросто припомнилось мне одно из многочисленных наставлений, преподанных мне моим господином Дон Кихотом накануне моего приезда на этот остров в качестве губернатора; заключалось же оно в том, чтобы я всегда склонялся на сторону милосердия в том случае, если какое-нибудь судебное дело внушит мне сомнение; и господину было угодно напомнить мне об этом правиле, которое к разбираемому нами делу подходит как нельзя кстати.

— Совершенно верно, — ответил майордом, — и я уверен, что сам Ликург, давший законы лакедемонянам, не мог бы решить этого дела лучше, чем это сделал великий Панса. Закончим на этом наше утреннее заседание, и я сейчас распоряжусь, чтобы сеньора губернатора угостили обедом.

— Этого-то мне и надо, скажу прямо, начистоту! — воскликнул Санчо. — Дайте мне только поесть, а потом пускай всякие запутанные и неясные дела сыплются на меня градом, — я их в один миг разрешу.

Санчо Панса РЕШАЕТ ЗАДАЧУ



ПОД ШАПКОЙ- НЕВИДИМКОЙ

Н. СЛАДКОВ

Они не видят тебя

«Хочешь увидеть — стань невидим». И тогда увидишь зверей такими, какими бывают они только наедине с лесом. А на это посмотреть стоит. Без страха зверь становится самим собой. Становится самим собой и перестает быть... «зверем»! Можно увидеть, как целуются на поляне олени.

Ежик принюхивается к струйкам ветра. Чибис смотрится в лесное зеркальце. Спокойно роятся на лесной поляне медведи.

Они тебя видят

Зверь, когда увидит охотника, становится сам не свой. Шерсть поднимается дыбом.



Глаза наливаются страхом. А у птиц от ужаса раскрываются клювы. Все прячутся, убегают и улетают.

Удирают в страхе свирепые кабаны.

Косуля в ужасе кидается в заросли.

Белка затаилась на сучке.

Даже медведи убегают без оглядки.

До чего же приятно, когда тебе доверяют! И до чего же обидно пугалом быть!

Под шапкой- невидимкой

Когда долго сидишь под ШАПКОЙ-НЕВИДИМКОЙ, а птицы и звери не показываются, становится скучно. Тогда в гости ко мне приходит Лесовичок. То в окошко вскарабкается, то снизу подлезет, то сверху спустится. Придет, повозится в уголке и притихнет. Сидим вдвоем, время коротаем.

За ШАПКОЙ ветер шумит,
дождь барабанит. А под
ШАПКОЙ тепло, уютно и
дремлется...

Я Лесовичка про лес рас-
спрашиваю, он отвечает.

— И откуда ты только все
знаешь? — удивляюсь я.

— Уж дело мое такое, —
отвечает. — Лесовичок ведь
я!

Выбьет желудевую тру-
бочку о шершавую, как ко-
ра, ладонь и улыбается.

Вот раз спрашиваю его:

— Скажи, Лесовичок, по-
чему горку во-он ту Козьей
называют?



- Козы дикие там раньше жили.
- А озерко это почему Гусиным зовут?
- Все потому: гуси когда-то гнездились.
- И болото потому Куропачье?
- И болото. Куропатки на нем водились.
- А куда же теперь-то они подевались:
козы, гуси да куропатки?

— Известно куда: охотники перевели.
 — А что, жалко тебе их, небось?
 — Еще бы не жалко! Бывало, лесом идешь — на козу полюбишься, на озере с гусями разговоришься, на болоте с куропатками пошутишь. А теперь? Ни поговорить, ни пошутить, ни полюбоваться. Скучно. Вот к тебе пришел, не прогонишь?
 — Мне что, сиди. Вдвоем веселей.
 Сидим вдвоем, время коротаем.
 А за ШАПКОЙ лес шумит. Осины лопочут, сосны басят, березы шепчутся.
 — Слышишь?— вдруг спрашивает Лесовичок.
 — Слышу,— говорю,— осины лопочут.
 — Нет,— отмахивается Лесовичок.
 — Сосны,— говорю,— сосны басят.

— Да не то! Не лопочут, не басят, а барабанят!
 — Барабанят?
 — Барабанят.
 — Кто же это барабанит?
 — То-то и оно! Это старые названия в сердце мое барабанят! Громко стучат и настойчиво, как дятлы. Неужто не слышишь?
 Я прикладываю к уху ладонь — так и есть! Старые названия барабанят. Барабанят тревожно и громко.
 — Может, и другие услышат? — спрашивает Лесовичок.— Что им, трудно ладонь приложить к уху, что ли?
 Я киваю ему головой: может, и услышат, может, не поленятся приложить к уху ладонь.

Синяя борода



Он сидел на груде почерневших от пыльного загара камней. Сидел неподвижно, поджав кривые ножки и опершись на тонкие ручки. Сидел и смотрел на меня.

За всю мою жизнь никто не смотрел на меня с таким презрением, как этот чешуйчатый уродец с пятнистыми губами! Мне даже не по себе стало, и я шагнул вправо. Уро-

дец не пошевелился. Я шагнул влево — даже и не моргнул. Я зашел сзади — он не повернулся. Я опять подошел спереди. Уродец все так же презрительно смотрел вперед. Теперь уже мимо меня. Прямо перед собой. На весь мир.

Громоздились на небе горы из облаков. Блестели на горизонте миражи-озера. Над землей пронесли стремительные бульдуруки. По земле, как видения, промчались джейраны.

Мои глаза разбегались. Он же смотрел в одну точку. Он был невозмутим. Он смотрел вдаль. Он презирал суету.

И вдруг он весь преобразился. Быстро приподнялся на лапках. Хвост закрутил спиралью. Сверкнули глаза под отеками веками. На горле отвисла чешуйчатая борода. Большая синяя борода клином.

Наконец-то в этом мире нашлось что-то, достойное его внимания! Даже белое брюхо его посинело: так он разволновался.

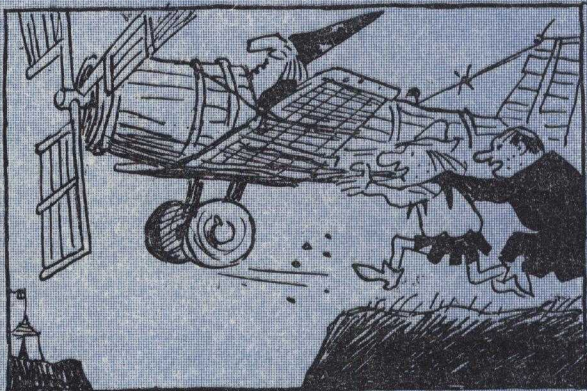
Я старательно смотрел по сторонам. Облака растаяли в небе. Потухли миражи-озера. Давно унеслись бульдуруки. И усаkali джейраны. Зато появилась... муха! Метнулась агама к мухе, проглотила, выгибая шею. Белым языком облила пятнистые губы.

И снова живот стал белым. И синяя борода исчезла. Опять равнодушие и презрение: к земле, к небу, к солнцу. Но только не к мухам...



СМЕХОТРОН и ПОЛИГЛОТ ПОПАДАЮТ В ПЕРЕПЛЕТ...

Рисунки А. ВЕДЕРНИКОВА.



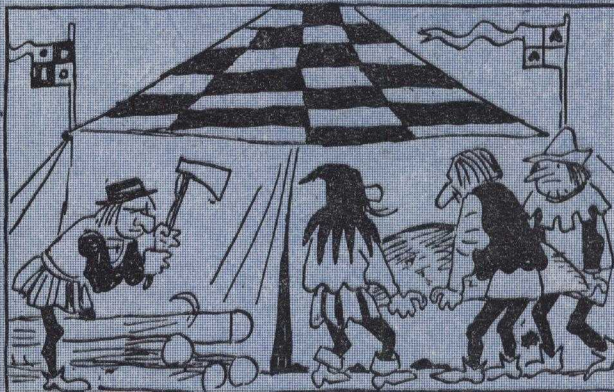
• Воодушевленный похвалой маг де Магог сказал, что он сможет сделать волшебную птицу. Он долго трудился над ней. И когда птица была готова, её поставили на вершине горы.
„А ну, подтолкните меня! — распорядился маг де Магог. — Я полечу!“



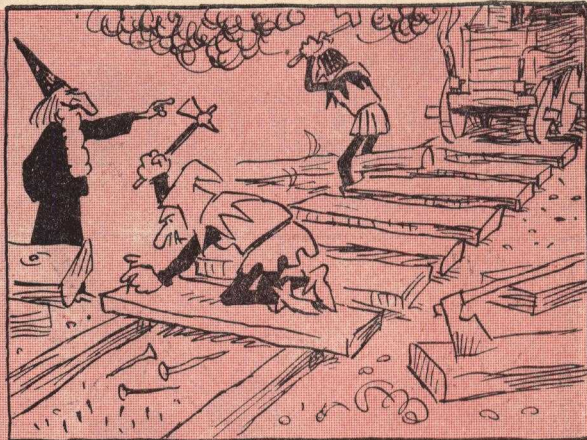
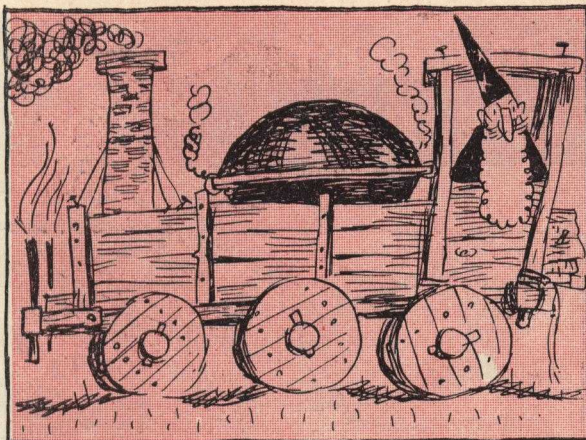
• Он загремел, как тысяча пустых бочек.



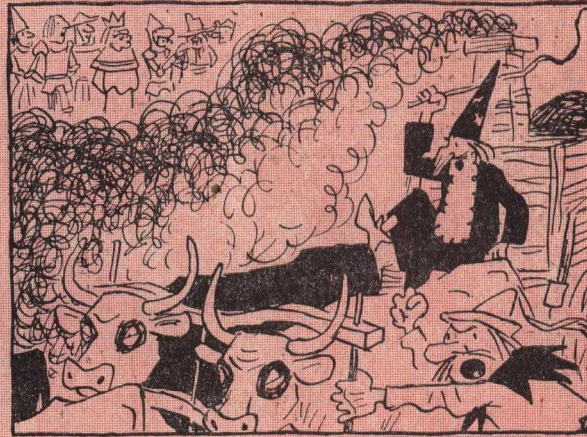
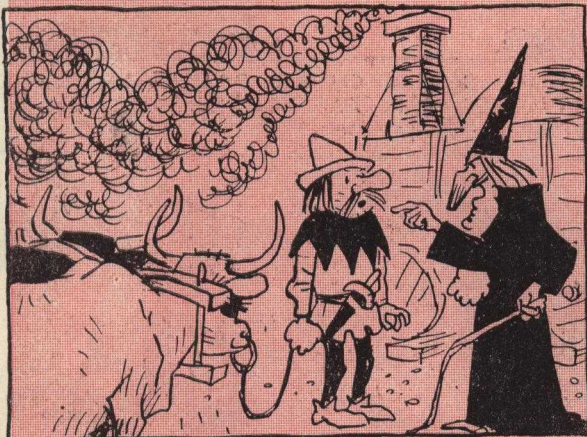
• Все смеялись над ним. Но сильно помятый маг воскликнул: „Я еще не такие чудеса знаю! Сейчас я построю волшебную колесницу!“



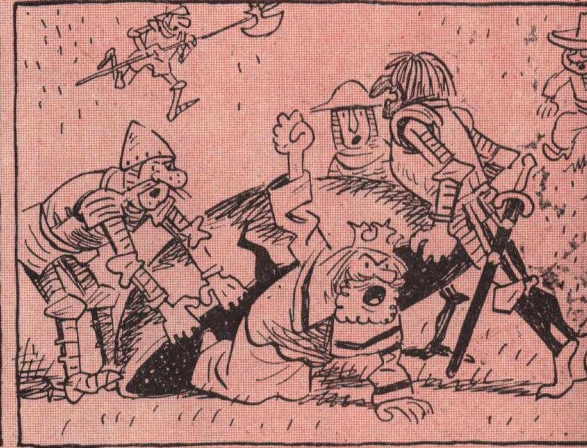
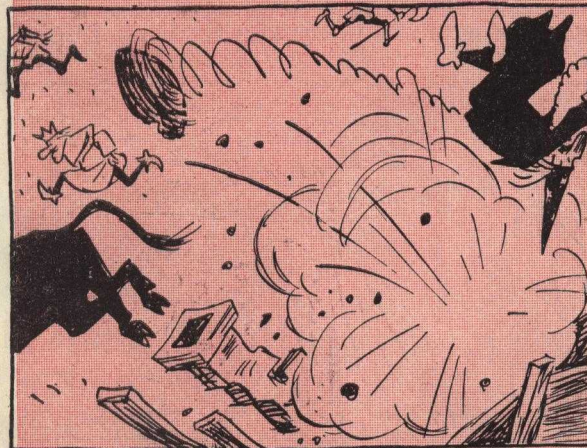
• Он велел поставить шатер и спал что-то мас-терить в нем удивительное и необыкновенное.



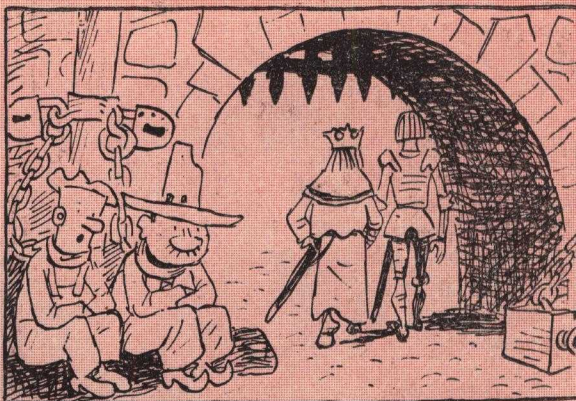
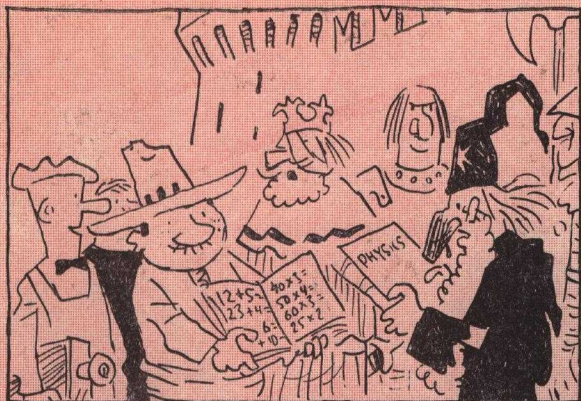
• Маг де Магог сделал волшебную повозку. Но повозка-колесница дымила и не прогала с места... Понимаю, - воскликнул маг, - нужны особые приспособления под названием „рель-сы“. Не прошло и часа, как рельсы были готовы.



• Но колесница не ехала. Тогда маг привязал к ней волов, и она покапталась. Правда, волшебная колесница очень дымилась, и вельможи не видели волов, которые тянули повозку. Поэтому все были поражены колдовством де Магога.



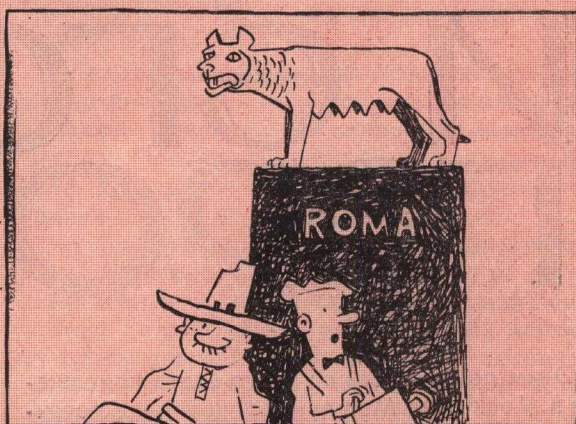
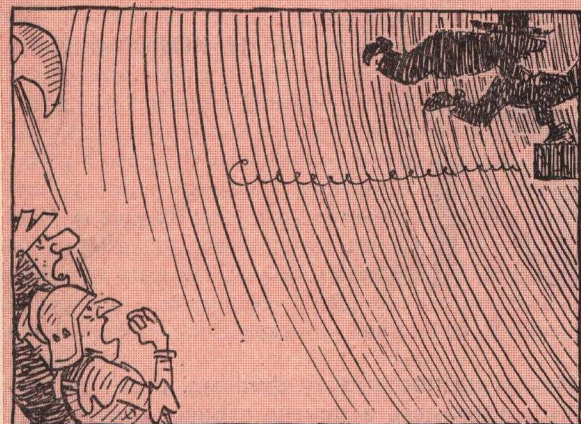
• И вдруг раздался страшный взрыв. Паровой котел разлетелся на куски. Крышка поднялась в небо и шлепнулась прямо на бедного короля. „Заковать его! Дать ему сорок тысяч плетей!! Казнить этого горе-волшебника!“ - вопил король.



«Не казните его, ваше величество, — засступились путешественники, довольные тем, что аппарат времени вернулся к ним. — Посадите его в темницу и не выпускайте до тех пор, пока он не выучит наизусть эти две волшебные книги.»
 «Хорошо, — сказал король, — но раз у меня больше нет собственного волшебника, вы останетесь при мне навсегда. А поскольку волшебники имеют привычку неожиданно пропадать неизвестно куда, я вас велю приковать к столбам. Уж не посетуйте...»



• Плак и сделали. наших путешественников приковали, а сами ушли спать. Страна тоже задремала. Но вдруг в тишине раздался громкий повелительный голос короля: «Освободить пленников!» Это Смехотрон включил магнитофон. Часовые бросились отпираться замки.



• Смехотрон и Полиглот взяли освобожденный аппарат времени и растаяли на глазах у пораженных солдат. Солдаты начали молиться. А наши друзья уже были далеко-далеко, за тысячи земель, за тысячи лет! В древнем государстве, в древнем Риме, среди рабов и рабовладельцев.

продолжение следует



Перед вами кадр из югославского фильма «Орлы вылетают рано» — этому фильму журнал «Пионер» вручил свой приз «За лучший фильм, прославляющий честность и смелость».

ЭКРАН и его герои

Н. КОЛЕСНИКОВА

Этим летом гости со всего света приезжали в Москву на Международный кинофестиваль. В Москве можно было встретить известных режиссеров, артистов, писателей, крупных кинематографических бизнесменов, которые прикидывают, выгодно ли дать

деньги на постановку фильма, стоит ли купить и продать в другие страны новую картину. Ведь кино — это большой бизнес, это миллионы! Но мы вам расскажем о людях, которым кино не приносит богатства, потому что они занимаются им не ради денег.

БОГАТСТВО «ЗОЛУШКИ»

Эта пожилая, всегда очень оживленная, элегантная женщина приехала в Москву не впервые. Ее уже знают у нас. Это Соника Бо из Парижа — хозяйка единственного в своем роде киноклуба для детей под названием «Золушка».

Очень давно, когда нынешних школьников еще не было на свете, молодая парижская художница мадам Соника начала коллекционировать... — что бы вы думали? — не марки и не книги, а детские фильмы.

Мадам Соника работала в кино, у нее было много знакомых режиссеров, и все, кто мог, с радостью ей помогали. Уж очень это была добрая мысль! Во Франции, да и нигде в капиталистических странах, нет кинотеатров для детей и фильмов детских делают мало.

Постепенно синеотека — так называют «библиотеки» кинофильмов — у мадам Соники стала очень большой. Но она собирала ее не для себя.

Для мадам Соники не было большей радости, чем делиться своими фильмами с детьми. В четверг и в воскресенье хозяйка синеотеки приглашала всех детей смотреть картины.

Несколько лет назад случилось несчастье: в помещении, где хранились картины, разбушевался пожар. Казалось, погибло дело всей жизни Соника Бо. Ее «Золушка» стала нищей... Но мадам Соника не из тех людей, которые отчаиваются и опускают руки. Она написала о своей беде всем.

У «Золушки» оказалось много друзей. И друзья помогли!

Ночью, когда улицы Парижа спали, редкие прохожие могли видеть, как пожилая дама, решительно хлопнув дверцей кабинки грузовика, села за руль и погнала машину к вокзалу. Мадам Соника отправилась получать груз, который пришел к ней из Советского Союза. В железных ящиках были лучшие детские фильмы, снятые в нашей стране. Почему ночью? Да потому, что в это время нанять грузовик стоит дешевле.

И вот мадам Соника, которую в Москве называют по-русски Софьей Борисовной, стоит перед микрофоном на сцене Дворца пионеров.

— Я очень счастлива, я самая счастливая женщина в мире, — говорит она. — Потому, что сегодня могу поблагодарить моих друзей в Советском Союзе, а вам, дети, могу показать фильмы из «Золушкиной» коллекции. Все дети в мире одинаковы и все любят

кино. Я знаю, что это так, потому что показывала детские фильмы и в Южной Америке, и в Африке, и во многих странах Европы. Не аплодируйте мне — вы устанете! Лучше смотрите повнимательнее.

Свет погас. И мы увидели документальную картину о том, как живут крестьяне Южной Франции. Увидели деревенскую свадьбу, для которой пекарь сделал огромный, с колесо от самосвала, крендель. Увидели, как ловят лягушек на удочку, как собирают на морском берегу устриц... Мы узнали кое-что новое. А значит, стали чуть-чуть богаче, потому что парижская «Золушка» поделилась с нами своим богатством.

СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ

Джанни Родари у нас очень популярный писатель. Его сказку про Чипполино даже поставили на «Союзмультфильме».

— Это был, кажется, единственный случай, когда я увидел своих героев на экране, — заметил Джанни.

— Вы любите кино?

— Конечно!

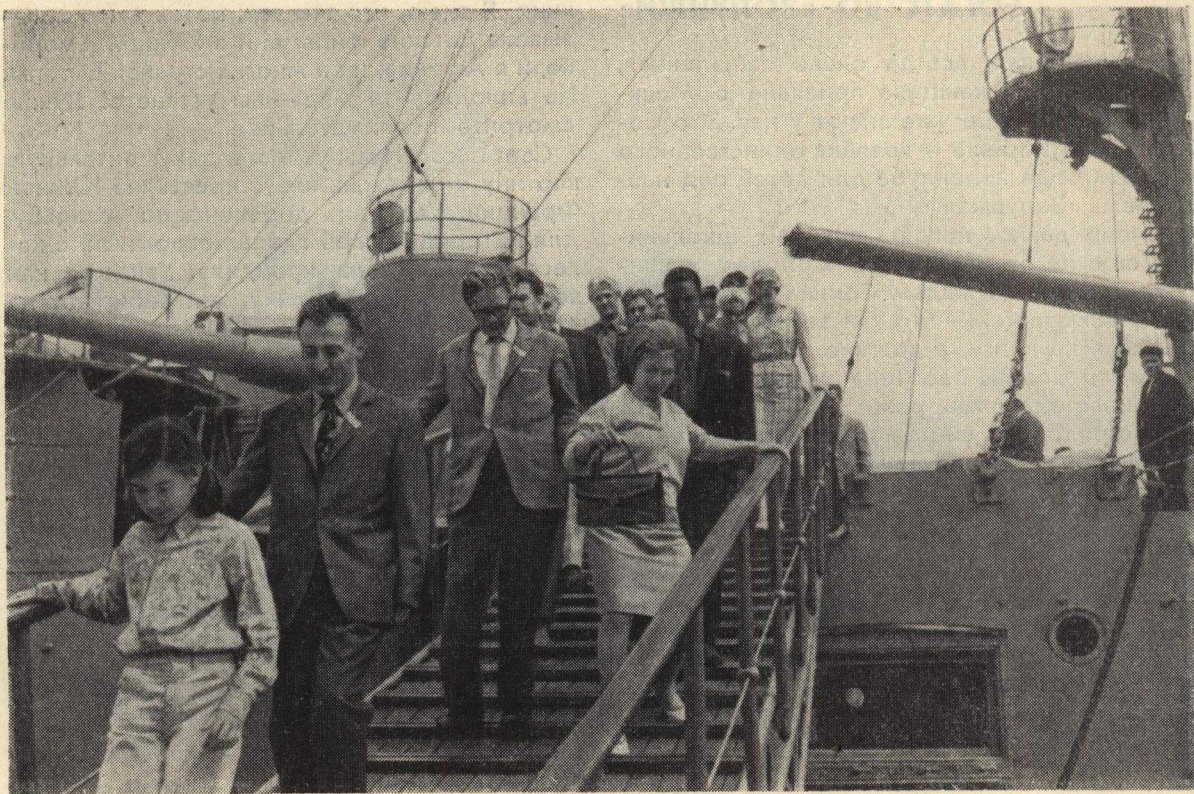
— А если бы вы были — представьте себе — в пионерском возрасте, какие фильмы вы бы любили?

— Люди сделаны по сложным меркам. Любой человек, в том числе и ребенок, — это целый город с множеством улиц. Откуда я знаю, на какой улице загорится свет сегодня вечером? Однажды мне захочется увидеть опасное приключение. А в следующий раз, быть может, волшебную сказку. А потом у меня будет серьезное настроение, и я пойду смотреть научно-популярную картину, но после рассказа о жизни австралийцев или о повадках пингвинов, возможно, я захочу посмеяться.

Я, взрослый, люблю детективные приключенческие фильмы и научную фантастику. И твердо знаю, что не люблю музыкальных картин. По-моему, гораздо приятнее слушать хорошие пластинки дома, отдельно от фильма.

— Скажите, у ребят в Италии есть любимые киногерои?

— В Италии, как ни странно вам это покажется, делают очень мало детских картин. И детям приходится смотреть в основном то, что предназначено для взрослых. У нас идет много фильмов, сделанных в жанре «вестерн». Знаете, что такое «вестерн»? Это американский или подделанный под американский приключенческий фильм с ковбоями, которые много стреляют, на экране од-



Джанни Родари и Паола побывали в Ленинграде и, конечно, осмотрели знаменитый крейсер «Аврора».

на погоня сменяется другой, и побеждает самый ловкий герой. Есть жестокие и глупые, никому не интересные «вестерны». Но есть и хорошие. Я думаю, что герой «вестерна» — смелый, ловкий парень, отличный наездник, стрелок, спортсмен, переживающий массу приключений ради доброго дела, — и есть самый популярный герой у итальянских мальчишек.

— Понравился ли вам наш приключенческий фильм «Неуловимые мстители»?

— О, тут есть зрительница, которая даст вам квалифицированный ответ! Паола!

Джанни поздравил свою десятилетнюю дочку, которая приехала вместе с ним.

— Я считаю, что «Неуловимые мстители» — лучший фильм фестиваля. Потому что хорошие люди в нем побеждают.

— Но, Паола, в жизни ведь часто бывает совсем не так!

— Так должно быть! — не уступила Паола.

СТАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

На кольце номер — 1706. Это кольцо — подарок журналу «Пионер» от вьетнамского режиссера Нгуен Куиня. Оно сде-

лано из остатков полусгоревшего американского самолета, сбитого вьетнамскими зенитчиками в воздушном бою под Ханоем.

После очередного налета, когда наконец наступает недолгая тишина, к месту, над которым был бой, приходят ханойские школьники. Они собирают металлический лом. Номер на кольце означает, что это был 1706-й по счету сбитый самолет.

Нгуен Куинь стал кинематографистом двадцать лет назад. Он был тогда солдатом Народного фронта Вьетнама, вступившего в борьбу против французских колонизаторов. Солдат взял в руки кинокамеру, чтобы снимать своих товарищей по оружию.

Особенно долгим и упорным было сражение, которое вели вьетнамские патриоты за крепость Дьен Бьен Фу. Крепость сдалась, и тогда наемная французская армия дрогнула. Как раз в это время во Вьетнам приехал советский режиссер и оператор Роман Кармен. Нгуен Куинь подружился с Карменом — бывалым фронтовым оператором. Они вместе снимали бои под Дьен Бьен Фу, и это стало лучшей школой для молодого вьетнамского кинематографиста. С тех пор он сделал много картин — документальных

очерков о борьбе за свободу вьетнамского народа.

Нгуен Куинь положил на изящный полированный гостиничный столик ржавые, с рваными краями осколки американских бомб. Каждая бомба размером с яблоко, будто зернышками, начинена стальными дробинками. Такие бомбы предназначены убивать мирное население. Разрыв — и стальные дробинки летят в детей и женщин.

— Двадцать лет у нас идет война. Французы убралась из Вьетнама — напали проклятые американцы, — говорил Нгуен Куинь. Он сжал в кулак свою маленькую смуглую руку. — Двадцать лет... Я был мальчиком — стал пожилым. Растут дети, которые не зна-

ют мира. Но мы будем бороться до победы. И победим!

Фронтальной оператор, друг Нгуен Куиня, погиб в бою. Сам Нгуен Куинь десятки раз подвергался смертельной опасности, работая рядом с бойцами в сражениях, под бомбежкой.

— Мы учились у советских кинематографистов, — сказал он. — Я видел много советских документальных картин об Отечественной войне. Эти картины идут у нас в Ханое. Киномеханики на велосипедах доставляют их через джунгли в самые глухие районы. Они близки вьетнамцам, потому что в них говорится о страданиях и мужестве народа, который боролся с врагом и победил.

ВАРЕЖКА

Сегодня мы рассказываем вам о новом кукольном фильме «Варежка», выпущенном киностудией «Союзмультфильм». Его придумала Ж. Витензон, поставил режиссер Р. Качанов, нарисовал художник Л. Шварцман и снял оператор И. Голомб. На Международном фестивале мультипликационных фильмов во Франции этот фильм получил премию за лучшее произведение для детей, а на Пятом международном московском фестивале — серебряную медаль.



У каждого своя мечта...

Жила-была девочка. Ей очень хотелось щенка. А щенка у нее не было. Однажды девочка принесла домой черного щенка с белым ухом. Но мама не разрешила оставить щенка: ведь с ним столько забот!

Пришлось отнестись щенка обратно...

...Вышла девочка во двор. По двору гордо разгуливали счастливые мальчишки и девчонки. У каждого на поводке была собака: у кого — пудель, у кого — спаниель, у кого — овчарка...

А девочка повела на тесемке... варежку — свою красную вязаную варежку с черным узором. Побежала девочка по снегу, оглянувшись — варежка послушно «бежит» следом. Остановилась девочка — и варежка «стоит».

Погладила девочка свою варежку, как щенка по спинке... И вдруг... поднялось и насторожилось ушко, блеснул круглый черный глаз — варежка превратилась в щенка! Самого настоящего щенка — только красного, с черным узором на спинке.

Это был именно такой щенок, о котором девочка мечтала: веселый, послушный и храбрый!

Щенок чуть было не выиграл приз состязаний. Он был уже совсем близко к фи-

нишу. Но зацепился хвостом за гвоздь на лесенке и беспомощно повис, растопырив лапки. А хвостик распускался — петелька за петелькой, петелька за петелькой — ведь щенок был вязаный.

Приз достался другому.

Девочка завязала щенку хвост бантиком и повела его домой.

Она постелила щенку мягкий коврик у двери, налила в блюдце молока... Пришла мама и увидела перед блюдцем с молоком просто варежку — красную вязаную варежку с черным узором...

И тогда мама сама принесла домой черного щенка с белым ухом...

О чем этот маленький фильм, одновременно и грустный и веселый?

О любви к животным? И об этом, конечно, тоже.

Но прежде всего о мечте, о фантазии, без которой трудно жить и детям и взрослым.

И еще о том, что нужно очень бережно относиться к мечте другого человека — того, кто рядом с тобой...

Ж. ВИТЕНЗОН,
Р. КАЧАНОВ



ТРЕНЬ-БРЕНЬ,

ТРЕНЬ-БРЕНЬ...

С. СОЛОВЕЙЧИК

И бычно книги не пересказывают: перескажешь, а потом читать будет неинтересно. Нет, говорят, сам прочитай и тогда узнаешь, как все началось и как кончилось.

Но эта книга особая: в ней нет конца. И начала нет.

Честное слово! Так и сказано: «История в восьми картинах с прологом и эпилогом, но без начала и без конца». Почему же так странно? Что это за чудачество такое пришло в голову писателю Радио Погодину: сделать книгу без начала и конца?

Нет, это не чудачество. Это здорово придумано. Потому что история, рассказанная Р. Погодиным, и вправду не вчера началась и не завтра кончится...

Итак, прилетела в Москву с далекого Севера девочка по имени Оля. Обыкновенная девочка, но... Но не такая, как все. На ней шуба из нерпы, ярко-красные брюки, темно-красный свитер. А самое главное — она рыжая. Ну да, рыжая: рыжик, красное солнышко, подосиновичек... Ни один человек не проходит мимо, не задевая её. Каждый обращает внимание: «Рыжая!»

Прохожие на улице возмущаются (не все, конечно, но некоторые):

— Это же безобразие — девчонка в такой модной шубе!

— А брюки! А волосы!

— Цаца!

Четвероклассник Аркашка объявляет:



«Сегодня на рыжих облава». И пошло, и пошло: «рыжая швабра», «рыжая ведьма», «рыжий бес, куда полез»... — не хочется и перечислять. Аркашка на такие ругательства неистощим.

В чем дело? Что случилось? Почему все пристают к Оле? Чем она виновата? Разве она сделала что-нибудь плохое? Обманула кого-нибудь? Нагрузила кому-нибудь? Нет, ничего этого не было. Оля сама по себе всем нравится, тот же Аркашка даже, кажется, тайно влюбился в нее... Все дразнят ее только за то, что она рыжая, — и ни за что

больше. За то, что она не такая, как все. «Если бы все люди были рыжими, никто бы на тебя внимания не обратил, — говорит Аркашка Оле. — Стань как все и живи себе спокойно».

Но как же «стать как все»? Перекраситься? Хорошо. По совету Аркашки, с его помощью Оля перекрасила волосы в черный цвет. Но тут же все в ней возмущается: почему? Зачем ей надо краситься, скрываться, обманывать? Она хочет быть такою, какая она есть на самом деле, — и никакой другой. Каждый человек имеет право быть таким, какой он есть.

В «Комсомольской правде» на страничке для школьников «Алый парус» был опубликован отрывок из новой пьесы Александра Хмелика. Там тоже примерно такая же история: все ребята как ребята, а один мальчик — левша. Пишет левой рукой. И к нему тоже пристают: «Почему ты пишешь не как все?»

Вот в чем дело: некоторые люди боятся всего, что хоть чем-нибудь отличается от обычного. Им хотелось бы, чтобы все-все на свете были одинаковыми: одинаково одевались, одинаково говорили, одинаково думали. Так спокойней. Ничего не раздражает.

В книге Р. Погодина появляется некий гражданин с портфелем, в шляпе и макинтоше. Он дальтоник, не различает цвета. Все вокруг кажется ему серым: все одежды серые, и деревья серые, и дома серые, и небо

всегда серое... Если бы такой человек поднялся вверх и посмотрел на людей сверху, ему бы, наверно, показалось, что это не люди, а булыжная мостовая. Гражданин-дальтоник говорит Оле: «Мне лично кажется неслепым и нездоровым все видеть в различном цвете. Это, знаешь ли, раздражает».

Но люди не булыжная мостовая! И не из дальтоников они состоят, дальтонизм — довольно редкая болезнь. Люди все разные и любят быть разными и любят видеть перед собой разных, а не одинаковых, не серых. Нормальных людей раздражает не разноцветье, а, наоборот, одинаковость, серость, монотонность...

Вот так и получается, что, хотя книга написана только про рыжих, на самом деле она говорит о чем-то более значительном, более широком. Так всегда бывает с хорошими книгами: писатель рассказывает о частном, а читатель, если он умеет понимать книги, читает внимательно и вдумчиво, видит за частным общее.

Ну, а что же все-таки делать девочке Оле, раз уж она родилась с такими огненно-красными волосами?

Время от времени в газетах и журналах появляются статьи: «Ответы некрасивой девочке», «Ответ рыжей девочке», «Ответ невысокому мальчику». В статьях, как правило, приводят примеры: такой-то великий человек был рыжим (или некрасивым, или маленького роста), а все-таки стал великим. Так что, мол, не унывай!

В книжке Радия Погодина Оле тоже говорят: «Стань великим человеком — и все. Великим все разрешается. Великие могут быть рыжими, лысыми, бородатыми, даже лопоухими».

Но это легко говорить! А если Оля никакая не великая и, быть может, не станет ею, тогда что? Так и мучиться всю жизнь?

Эту книжку написал честный писатель. Его такой простой ответ («Ничего, великие тоже бывали из рыжих») не удовлетворяет. Его героиня Оля ищет другой выход. Перекрашивается. Пробует сама над всеми смеяться. Собирается даже утопиться... Нет выхода! Потому-то, говорит писатель, и нет конца у этой истории: для Оли выхода нет, найти его невозможно. Надо быть очень смелым, чтобы прямо и честно сказать об этом.

Оля ничего не сможет поделать, но должны, обязаны что-то сделать люди, которые ее окружают. Эти люди должны стать лучше, терпеливее, добрее — вот в чем секрет!



Если человек не такой, как все, — это не значит, что его можно унижать, дразнить, травить.

Пока мы читаем книгу, мы любим рыжую девочку Олю и презираем всех, кто над ней смеется.

Если эта любовь к «не таким, как все», и презрение к их обидчикам останутся у нас и после прочтения кни-

жки, а еще лучше — на всю жизнь, вот это и будет хорошо. И Оле станет гораздо лучше на свете, и никогда не захочется ей топиться оттого, что она рыжая.

...Трень-брень, трень-брень! Кто это тренькает, кто бренькает от первой страницы книги до последней? А это шут с балалайкой. «Улыбка у него такая, что глаз не видно», — говорит автор. А если бы мы все-таки сумели заглянуть в его глаза, то наверняка увидели бы в них грусть... Как все шуты на свете, шут дядя Шура и смеется и грустит. Он смеется над всеми, кто над кем-то смеется. Он грустит со всеми, над кем смеются. Трень-брень, трень-брень... Новая книга Радия Погодина так и называется: «Трень-брень». Прочитайте ее обязательно: это серьезная, тонкая, отлично написанная книга. Кстати, ребята-ленинградцы могут увидеть эту историю и на сцене: Ленинградский ТЮЗ поставил спектакль «Трень-брень». Я, к сожалению, не видел его, но все, кто видел, в один голос говорят: замечательный спектакль.

РАВНОДУШНЫХ НЕ БУДЕТ

Я начала читать книжку, но все никак не могла дочитать ее до конца, потому что книжка все время пропадала...

— Опять? — говорила я дочери строгим голосом.

— Ой, мамочка! Сейчас принесу. Она у Тамары.

— Прости, мамочка... Лена с Юлей ее читают, им три странички осталось.

Вот так, с этажа на этаж нашего дома, путешествовала книжка.

Прочитать такую книжку нетрудно: она небольшая. Главное-то не в том. Наблюдая, как читали ее



ребята, я замечала, что книжка помогла им превратиться в таких ребят, которым не все равно, что творится вокруг.

— Ну, — сказала я дочке, когда она наконец принесла мне книжку. — Теперь вы все прочитали и будете жить во дворе интересно и мирно?

— Мы, девочки, будем. А вот мальчишки! Мам, а давай им подбросим книжку. Пусть тоже прочитают.

И спустили мы книжку с балкона на суровой нитке. Так ловко спустили, что попала она прямо на шахматную доску к мальчишкам.

Отложили они шахматы в сторону и давай читать... А потом заспорили, закричали, мелом какие-то планы чертить стали, руками туда-сюда во дворе показывать.

— Здесь у нас будет... тир.

— А вот здесь... велосипедная станция.

— Да ну тебя. Тоже скажешь... ничего у нас не получится. Девчонок с места не сдвинешь...

Но девочки уже давно наблюдали за мальчишками и зашумели на свой лад:

— Это у вас не получится. А мы уже все придумали...

В конце концов все собрались во дворе, и началась вполне мирная беседа.

А на шахматной доске, в сторонке, лежала книжка, которая устроила такой переполох и сдружила ребят там, где с давних пор они не могли сдружились...

И вы прочтите книжку И. ЗЕМСКОЙ и Н. ИЗВЕКОВОЙ «ПРЕВРАЩЕНИЕ БЕЗ ПРЕВРАЩЕНИЙ». Она обязательно поможет вам, подскажет, сдружит.

Н. БРОМЛЕЙ

Содержание

Ключ к номеру	1
Чистые намушки. — Повесть А. Лиханова. Продолжение. Рисунки Е. Шукаева	2
Ветер. — Стихи Ибрагима Баева. Перевел с балкарского О. Чухонцев	16
Разговор с сыном. — А. Волков. Рисунки Ю. Владимирова и Ф. Терлецкого	17
По дороге с мельницы. — Рассказ О. Иоселиани. Перевел с грузинского А. Эбаноидзе. Рисунки Н. Борисовой	24
По компасу Октября	
Впереди Смольный. — Е. Драбкина. Продолжение. Рисунки Е. Медведева	28
Фонарик	
Мой боевой друг. — Пьеса Г. Алексева по одноименной повести Ю. Яковлева. Рисунки Е. Медведева	30
Забора солнца. Жанс-силах. Таинственная карета. Утро всегда начинается с птиц. — По мотивам французских сказок. Стихи Р. Заславского. Рисунки Н. Доброхотовой	40
Агентство ННН	42
Кругосветка	45
Наши крылья. — О. Назаров. Фото Б. Вдовенко	46
Спаси декабра! — Научно-фантастический рассказ С. Гансовского. Рисунки Н. Строгановой и М. Алексева	49
О человеке бывалом, писателе веселом. — И. Рахтанов	57
Так пролегла дорога. — Л. Матвеева. Рисунки Ю. Черепанова	58
В стране шаха — владыки черных и белых полей. — Международный мастер М. Юдович	65
Встречи с тремя неизвестными. — Составил А. Розенталь. Рисунки Б. Кыштымова	66
Под шапкой-невидимкой. — Н. Сладков. Фото автора	68
Смехотрон и Полиглот попадают в переплет. — Е. Ведерников, Ю. Постников	71
Экран и его герои. — Н. Колесникова	74
Варежка. — Ж. Витензон, Р. Качанов	77
Что нам читать?	78

На вклейках:

Наши крылья. Цветные фото Б. Вдовенко и Ю. Королева.

Иллюстрация Н. Строгановой и М. Алексева к научно-фантастическому рассказу С. Гансовского «Спаси декабра!».

На обложке:

На арене цирка. Рисунок Б. Кыштымова.

Главный редактор Н. В. ИЛЬИНА.
Художественный редактор С. Сахарова.

Редакционная коллегия: Т. В. Голубцова, В. А. Каверин, Л. А. Кассиль, Е. Л. Коваленко (ответственный секретарь), Ф. В. Лемкуль, В. Ф. Матвеев (заместитель главного редактора), А. И. Мошковский, А. И. Мусатов, А. С. Некрасов, В. И. Орлов, В. А. Поддубная, М. П. Прилежаева.

Адрес редакции: Москва, А-15, Бумажный проезд, 14, 11-й этаж. Телефон Д 3-30-73.

Рукописи не возвращаются.

Технический редактор В. Пархоменко.

А 00204.

Подписано к печати 8/IX 1967 г.

Форм. бум. 84×108¹/₁₆.

Объем 8,82 усл. печ. л.

Тираж 788 150 экз.

Изд. № 1756.

Заказ № 2327.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина.
Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

ВСЕМ РЕБЯТАМ

Всегда жалко, когда лето кончилось. В этот раз тоже. Зато как хорошо вспоминать о жизни в лагере, о походах, о ночных кострах!

Правда, ничего лучше этого не бывает. Природа манит к себе человека. Это знают все издавна, верно это и сейчас, в наше с вами время. Только в наше время по сравнению с «давным-давно» и лесов стало поменьше и реки многие помелели... Это напишем крупными буквами:

ЛЮДИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ ПРИРОДОЙ — ЛЕСОВОДЫ, РЫБОВОДЫ И ЗВЕРОВОДЫ, — ДУМАЮТ О ТОМ, КАК СОХРАНИТЬ, УБЕРЕЧЬ ЛЕСА И РЕКИ, ЗВЕРЕЙ И РЫБУ, И ЭТО ВОЗМОЖНО, НО ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ЭТИМ БУДЕТ МНОЖЕСТВО ЛЮДЕЙ.

Человек — хозяин на земле. Да ведь разные бывают хозяева: хорошие и совсем плохие. И вот там, где живут последние, там природа катастрофически истощается. Сводятся леса, мелеют, за-

болачиваются реки и ручьи, уходят звери и улетают птицы. Но человек ведь только один на земле наделен разумом, ни птицы, ни звери ничего сделать не могут! Значит...

ЗНАЧИТ, НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ, НО КАК ИМЕННО?

Впереди осень, ребята. Осенью в нашей стране проводятся повсюду массовые посадки леса, озеленение городов, сел, дорог и берегов рек. Так вот, идите и помогайте! Узнавайте, спрашивайте у взрослых, когда в ваших местах и где будут все это делать, предлагайте в помощь свои руки. Вас много, ребята, и многое вы можете сделать уже этой осенью.

Помогайте жить обитателям леса, они беззащитные и нуждаются в вашей помощи. Готовьте гнездовья и зимние кормушки. Собирайте семена кустарников и деревьев. Знайте и, пожалуйста, помните:

**ДОЛГ ВСЕХ НАС — ЗАБОТИТЬСЯ
О ПРИРОДЕ.**



Цена 25 коп.
Индекс 70694



ВАРЕЖКА

«Варежка»! Так называется фильм. А на картинках-кадрах то и вправду варежка, а то... собачка, настоящая, живая, только почему-то красная и с узором на спинке. Посмотри кадры все подряд, как кино, найди в номере рассказ сценариста и режиссера об этом фильме — и ты узнаешь интересную историю.

